



Американец
Джон Ирвинг обладает
удивительной
способностью
изъясняться притчами:
любая его книга
совсем не о том,
о чем кажется.

ЭКСПЕРТ

ДЖОН ИРВИНГ

Молитва
об Оуэне Мини

Джон Ирвинг

Молитва об Оуэне Мини

«Азбука-Аттикус»

1989

Ирвинг Д.

Молитва об Оуэне Мини / Д. Ирвинг — «Азбука-Аттикус», 1989

ISBN 978-5-389-08386-8

Трагикомическая сага от знаменитого автора «Мира глазами Гарпа» и «Отеля Нью-Гэмпшир», «Правил виноделов» и «Мужчин не ее жизни», «Последней ночи на Извилистой реке» и «Четвертой руки», панорамный бурлеск, сходный по размаху с «Бойней номер пять» Курта Воннегута или «Уловкой-22» Джозефа Хеллера. Эта история о не ведающем сомнений мальчишке, который обретает странную власть над людьми и самим ходом вещей, полна мистических событий и почти детективных загадок, необъяснимых совпадений и зеркальных повторов, в свою очередь повторяющих – подчас иронически – сюжет Евангелия. Как получилось, что одиннадцатилетний Оуэн Мини, нечаянно убив мать своего лучшего друга, приводит его к Богу? Почему говорящий фальцетом щуплый, лопоухий ребенок, подобно Христу, провидит свою судьбу: ему точно известно, когда и как он умрет? По мнению Стивена Кинга, «никто еще не показывал Христа так, как Ирвинг в своем романе».

ISBN 978-5-389-08386-8

© Ирвинг Д., 1989

© Азбука-Аттикус, 1989

Содержание

1	6
2	30
3	67
4	102
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Джон Ирвинг

Молитва об Оуэне Мيني

*Хелен Фрэнсис Уинслоу Ирвинг и Колину Фрэнклинну Ньюэллу
Ирвингу, моим матери и отцу, посвящается эта книга*

*Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом...*

Послание к филиппийцам святого апостола Павла, 4: 6

*Одно из главных моих затруднений состоит в том, что я вряд
ли могу себе даже представить, какого рода опыт следует считать
подлинно и в полном смысле слова религиозным. Разве может Бог, не
разумевая меня, явить себя так, чтобы не оставалось места сомнениям?
Ведь если не будет места сомнениям, не будет места и для меня самого.*

Фредерик Бюхнер

Христианин, не ставший героем, останется свиньей.

Леон Блуа

John Irving. A PRAYER FOR OWEN MEANY

Copyright © 1989 by Garp Enterprises Ltd.

All rights reserved

© В. Прахт, перевод, 2006

© ООО «Издательская Группа © „Азбука-Аттикус“, 2011

Издательство АЗБУКА®

1

Промах

Я обречен до конца жизни помнить этого мальчишку со странным, пронзительным голосом – и вовсе не потому, что у него был такой голос, и не потому, что он был самым маленьким из всех, кого я знал, и даже не потому, что он явился орудием смерти моей мамы, а потому, что он привел меня к Богу. Я стал христианином благодаря Оуэну Мини. Я вовсе не утверждаю, будто живу во Христе или с Христом – и уж тем более *для* Христа, о чем, я слышал, твердят некоторые фанатики. Я не могу похвалиться хорошим знанием Ветхого Завета, да и в Новый Завет я не заглядывал с воскресной школы, – если не считать тех отрывков, что оглашают на церковной службе. Немного лучше мне знакомы те места из Библии, которые есть в Книге общей молитвы. Молитвенник я перечитываю часто, а вот Библию – только в дни церковных праздников: ведь в молитвеннике все изложено проще и логичней.

Я всегда довольно исправно посещал церковь. Когда-то я был конгрегационалистом – меня крестили в конгрегационалистской церкви, – потом несколько лет – епископалом (конфирмовался я в епископальной церкви), отчего мои религиозные воззрения оказались довольно расплывчатыми; подростком я вообще посещал «внеконфессиональную» церковь. А позже моей церковью стала англиканская церковь Канады – с тех самых пор, как почти двадцать лет назад я уехал из Соединенных Штатов. Быть англиканцем – почти то же, что епископалом, – мне временами даже кажется, будто я вернулся в епископальную церковь. И все же я покинул и конгрегационалистскую, и епископальную церковь, как покинул и свою родину – раз и навсегда.

Я постараюсь все устроить так, чтобы меня, когда я умру, похоронили в Нью-Гэмпшире, рядом с мамой, но чтобы англиканская церковь успела совершить надо мной все положенные обряды, прежде чем над моим телом надругаются, тайком переправляя через американскую таможенную. Выдержки из «Ритуала погребения усопших», которые прозвучат на моих похоронах, будут совершенно традиционны, их можно найти в Книге общей молитвы, – в том же порядке, в каком надо мной их прочитают – не *споят*, а именно прочитают. Почти всем, я уверен, будут хорошо известны те места из Евангелия от Иоанна, где говорится: «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». И дальше: «В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам...» А еще мне всегда нравилось своей прямоотой то место из Послания к Тимофею, где сказано: «...мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него». Эта служба пройдет по всем правилам, принятым в англиканской церкви, отчего мои бывшие собратья-конгрегационалисты заерзали бы на своих скамейках. Что ж, теперь я принадлежу к англиканской церкви, англиканцем и умру. Правда, воскресную службу иногда пропускаю. Я и не претендую на особое благочестие; мою веру, сшитую из разных лоскутов, латать приходится чуть не каждую неделю. Но той верой, что у меня есть, я обязан Оуэну Мини, мальчишке, с которым вместе вырос. Это Оуэн сделал меня верующим.

В воскресной школе мы устраивали себе забаву, потешаясь над Оуэном Мини, который был таким маленьким, что, сидя на стуле, не только не доставал ногами до пола, но даже коленки его не доходили до края сиденья и ноги торчали вперед, как у куклы. Казалось, будто Оуэн Мини родился с кукольными суставами.

Мы, забавляясь, поднимали крошечного Оуэна в воздух, просто не могли удержаться – он был чудо какой легкий. Это поражало и казалось странным еще и потому, что в его семье испокон веку занимались добычей гранита. И гранитный карьер Мини был большущий, и оборудование для взрывных работ и резки гранитных плит было мощное и устрашающее: гранит

ведь порода тяжелая и прочная. И лишь одно в Оуэне напоминало о гранитном карьере – это крупнозернистая пыль, серые крошки, что сыпались из его одежды всякий раз, как мы поднимали его. Он и сам был цвета серого гранита; его кожа одновременно поглощала и отражала свет, будто жемчуг, и выглядела полупрозрачной, особенно на висках, где отчетливо проступали голубые жилки (вместе с его необычным ростом свидетельствуя, что он родился слишком рано).

У него то ли не вполне развились голосовые связки, то ли голос ему испортила гранитная пыль, то ли у него был какой-то дефект гортани или трахеи, а может, он просто поранил горло осколком гранита – так или иначе, Оуэну, чтобы вообще быть услышанным, приходилось кричать в нос.

И все же мы относились к нему с нежностью – «куколкой» звали его девчонки, покуда он увертывался, пытаясь вырваться от них да и от всех нас.

Я уже не помню, с чего вообще началась эта игра с подниманием Оуэна.

Наша воскресная школа принадлежала церкви Христа – епископальной церкви Грейвсенда, что в штате Нью-Гэмпшир. Нам преподавала нервная и несчастная на вид учительница по имени миссис Ходдл – имя подходило ей как нельзя лучше, потому как ее педагогический метод предполагал частые и продолжительные уходы из класса. Прочитает нам, бывало, какой-нибудь поучительный отрывок из Библии, а затем просит нас хорошенько поразмышлять о том, что мы только что услышали. «А теперь я хочу, чтобы вы посидели в тишине и серьезно подумали над этим! Я оставляю вас наедине с вашими мыслями, – злое ще предупреждала она нас, будто наши мысли могут нас завести в опасную даль, – и хочу, чтобы вы *очень серьезно* поразмыслили! – говорила миссис Ходдл. И уходила. По-моему, ей просто нужно было покурить, а курить при нас она не могла. – Я скоро вернусь, – говорила она, – и мы все вместе это обсудим».

К тому времени, когда она возвращалась, мы, естественно, начисто забывали, о чем она нам читала; стоило ей закрыть за собой дверь, как мы тут же начинали беситься, как безумные. Оставаться наедине со своими мыслями нам было скучно, и вместо этого мы подхватывали Оуэна Мини, поднимали его на вытянутых руках и передавали друг другу через голову по рядам туда и обратно, причем никто не вставал со стула – в этом-то и заключался смысл забавы. Кто-то – я сейчас уже не помню, кто первый это придумал, – вскакивал со своего места, хватал Оуэна в охапку, снова садился и передавал кому-нибудь другому. Тот – следующему, и так далее. Девчонки тоже участвовали в игре, которая увлекала их едва ли не больше, чем мальчишек. Оуэна мог поднять любой. Мы обходились с ним очень аккуратно и за все время ни разу не уронили. Правда, рубашка его могла слегка помяться, а галстук – он был слишком длинный, и Оуэну приходилось заправлять его за ремень, чтобы не свисал до колен, – так вот, иногда галстук вылезал из-под ремня, а из карманов высыпалась мелочь (прямо нам в лицо!). Деньги мы ему потом всегда возвращали.

Если в карманах у Оуэна лежали бейсбольные карточки, они тоже оказывались на полу. Это его здорово злило: все игроки у него были разложены в каком-то порядке, то ли по алфавиту, то ли отдельно игроки внешнего, а отдельно – внутреннего поля. Мы не знали, по какому принципу он их раскладывает, но некий принцип там был, это точно. Когда миссис Ходдл возвращалась в класс, и он наконец мог сесть на свое место, и мы отдавали ему все его пятаки, десятицентовики и все его бейсбольные карточки – он потом еще долго с молчаливой мрачной яростью их перекладывал в нужном порядке.

Сам он играл в бейсбол не очень хорошо, но зато у него была очень маленькая ударная зона, и в играх Малой лиги его часто ставили бьющим, – но не потому, что он смог бы как следует ударить по мячу (наоборот, ему при этом наказывали вообще не замахиваться битой), а потому, что соперник наверняка промажет и можно будет заработать переход на базу. Он обижался, а однажды вообще отказался взять в руки биты, если ему не разрешат ударить по мячу.

Но такой маленькой биты, чтобы он мог ею орудовать, пожалуй, не существовало в природе: стоило ему размахнуться как следует, и бита увлекала его за собой и, описав полукруг, ударяла по спине так, что он плашмя шлепался на землю. В общем, после нескольких унижений, когда, пытаясь ударить по мячу, Оуэн неизменно сбивал себя с ног, он смирился с менее позорной для себя ролью – стоять неподвижно, ссутулясь, на плите домашней базы, пока питчер целится мячом в его ударную зону, чтобы наверняка промазать.

Все равно Оуэн любил свои бейсбольные карточки. И сам бейсбол, несмотря ни на что, он любил, хотя в игре ему порой приходилось несладко. Питчеры из команды противника часто запугивали его. Они говорили, что если он не будет отбивать их подачу, то получит мячом по голове. «Учти, приятель, башка у тебя побольше, чем ударная зона», – пригрозил ему как-то один питчер. Так что иногда Оуэн зарабатывал переход на первую базу ценой синяков от мяча.

Но зато, достигнув первой базы, он становился просто бесценным игроком. Никто не умел так проворно оббежать все базы, как Оуэн Мини. Если наша команда ухитрялась достаточно долго продержаться в нападении, Оуэн мог база за базой «украсть» целую круговую пробежку. Ближе к концу игры мы часто ставили его бегущим. Короче, на замене бьющего и бегущего он был вне конкуренции – наш запасной «скороход» Оуэн Мини, как мы его иногда называли. Ставить Оуэна на внешнее поле было совершенно безнадежно. Он так боялся мяча, что даже глаза закрывал, когда тот летел в его сторону. А если случалось чудо и Оуэн ловил мяч, то бросить его все равно не мог: своей маленькой рукой он был просто не в состоянии обхватить его как следует. Он и хныкал по-особенному: от обиды голосок у него делался до того жалобный, что даже нытье казалось симпатичным.

Когда мы в воскресной школе поднимали Оуэна высоко в воздух – в воздух, именно так! – он верещал просто неповторимо. Я думаю, мы и мучили-то его нарочно, чтобы услышать его голос; мне тогда казалось, что такой голос может быть только у какого-нибудь пришельца с другой планеты. Сегодня я точно знаю: то был голос не от мира сего.

– ОТПУСТИТЕ МЕНЯ! – кричал он этим своим сдавленным, душераздирающим фальцетом. – ХВАТИТ, МНЕ НАДОЕЛО! Я БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ! МНЕ НАДОЕЛО, Я ВАМ СКАЗАЛ! ОТПУСТИТЕ МЕНЯ НАКОНЕЦ, ГАДЫ!

Но мы как ни в чем не бывало продолжали передавать его по рядам, и он с каждым разом все больше смирялся со своей участью. Его тело цепенело, он переставал сопротивляться. Однажды, когда мы его подняли, он вызывающе сложил на груди руки и со злостью уставился в потолок. Порой он пытался схватиться за стул в то мгновение, когда миссис Ходдл выходила из класса. Он цеплялся за стул, как канарейка за жердочку в клетке, но справиться с ним ничего не стоило: он очень боялся щекотки. Одна девочка по имени Сьюки Свифт так ловко щекотала Оуэна, что его руки и ноги тут же выпрямлялись, и нам ничто не мешало поднимать его.

– ЧУР НЕ ЩЕКОТАТЬ! – кричал он. Но правила в этой игре устанавливали мы, а мы никогда не слушали, чего он там кричит.

В конце концов неизбежно наступал момент, когда миссис Ходдл возвращалась в класс и заставляла Оуэна в воздухе. Учитывая всю библейскую глубину и мудрость оставленных нам указаний – «очень серьезно поразмыслить», – она вполне могла бы вообразить, что мы сумели заставить Оуэна Мини воспарить исключительно совместным напряжением наших необычайно серьезных мыслей. А могла бы и сообразить, что вознесение Оуэна над нашими головами – прямое следствие того, что она оставила нас наедине с нашими мыслями.

И однако же, реагировала миссис Ходдл всегда одинаково – жестко, без воображения, зато с непроходимой тупостью.

– Оуэн! – рявкала она. – Оуэн Мини, сейчас же вернись на свое место! Спустишься оттуда немедленно!

Какой библейской премудрости могла научить нас эта миссис Ходдл, если у нее хватало ума допустить, будто Оуэн Мини сам себя поднял в воздух?

Держался Оуэн всегда с достоинством. Он ни разу не сказал ничего вроде: «ЭТО ВСЕ ОНИ! ОНИ ВСЕГДА ТАК! ОНИ ПОДНИМАЮТ МЕНЯ, РАЗБРАСЫВАЮТ МОИ ДЕНЬГИ, ПЕРЕПУТЫВАЮТ МОИ БЕЙСБОЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ – ОНИ НИКОГДА НЕ СЛУШАЮТ МЕНЯ, КОГДА Я ПРОШУ ИХ ПЕРЕСТАТЬ! ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ, Я САМ СЮДА ВЗЛЕТЕЛ?»

Притом что Оуэн часто жаловался нам, на нас он никогда не жаловался. И если там, над нашими головами, ему нечасто удавалось сохранять спокойствие, то, когда миссис Ходдл начинала распекать его за ребячество, он всегда держался стойчески. Оуэн не был ябедой. Подобно множеству библейских персонажей, Оуэн Мини наглядно показывал нам, что такое мученик.

Мы ни разу не заметили, чтобы он затаил на нас обиду. Хотя наше главное, ставшее ритуалом развлечение мы приберегали для воскресной школы, случалось, мы придумывали что-нибудь эдакое и в другие дни. Однажды кто-то подвесил Оуэна за ворот на вешалку для одежды в зале начальной школы – и даже тогда он не стал сопротивляться. Он безмолвно висел и ждал, когда кто-нибудь снимет его и поставит на пол. В другой раз, после урока физкультуры, Оуэна подвесили за спортивный бандаж на крючке в его шкафчике и заперли дверцу. «ЭТО НЕ СМЕШНО! СОВСЕМ НЕ СМЕШНО!» – кричал и кричал он, пока наконец кто-то, видимо согласившись с этим, не высвободил Оуэна из этой резинки, размером не больше, чем у рогатки.

Откуда мне тогда было знать, что Оуэн Мини – герой?

Мне, пожалуй, стоило начать с того, что я принадлежу к семейству Уилрайтов, а с Уилрайтами в нашем городке всегда считались. Еще нужно заметить, что Уилрайты не питали особого расположения к семейству Мини. У нас была матриархальная семья, поскольку дед мой умер еще молодым и оставил на бабушку все хозяйство, с которым она, однако, управлялась весьма по-хозяйски. По бабушкиной линии я потомок Джона Адамса (ее девичья фамилия – Бейтс, а эта семья прибыла в Америку на «Мэйфлауэре»); но тем не менее гораздо больший вес в нашем городке имело имя деда, и бабушка носила свою новую фамилию с таким достоинством, как если бы она была и Уилрайт, и Адамс, и Бейтс одновременно.

При крещении ее называли Харриет, но почти для всех она была миссис Уилрайт – уж во всяком случае, для всех из семейства Оуэна Мини. По-моему, под конец жизни бабушка помнила только одного человека по фамилии Мини – Джорджа Мини, профсоюзного деятеля, который курил сигары. В представлении Харриет Уилрайт профсоюз и сигары плохо сочетались. (Насколько я знаю, Джордж Мини с нашими Мини в родстве не состоял.)

Я вырос в Грейвсенде, штат Нью-Гэмпшир. Профсоюзов у нас там не было; сигары кое-кто курил, но вот профсоюзных деятелей как-то не встречалось. Городок, в котором я родился, еще в 1638 году был куплен у какого-то индейца-сагамора преподобным Джоном Уилрайтом, в честь которого меня и назвали. В Новой Англии сагамирами звали индейских вождей и прочую их знать, хотя ко времени моего детства единственным знакомым мне сагамором оставался соседский кобель, лабрадор-ретривер по кличке Сагамор. Я думаю, этим именем он обязан вовсе не своим индейским предкам, а невежеству хозяина. Хозяин Сагамора, наш сосед мистер Фиш, говорил мне, что пса своего он назвал в память об озере, в котором купался летом дни напролет, когда был еще, как он выражался, «зеленым юнцом». Бедняга мистер Фиш: откуда ему было знать, что то озеро названо в честь индейских вождей и что наречение глупого пса Сагамором – заведомое кощунство и добром оно не кончится. Как станет ясно дальше, все так и вышло.

Но американцы не очень-то сильны в истории, так что долгие годы я, наученный своим соседом, искренне считал, будто «сагамор» на одном из индейских наречий значит «озеро». Четвероногий Сагамор попал потом под грузовик местной фирмы по прокату пеленок; я склоняюсь к мысли, что к этому причастны божества, обитающие в беспокойных водах оскорбленного озера. Правильней, наверное, чтобы «пеленочный» грузовик задавил самого мистера Фиша, однако история любых божеств демонстрирует, как отмщение обрушивается на невинного. (Таково одно из положений моей собственной веры, которое не разделяет никто из моих друзей – ни конгрегационалисты, ни епископалы, ни англиканцы.)

Что касается моего предка Джона Уилрайта, то он высадился на берег в Бостоне в 1636 году, всего на два года раньше, чем купил наш городок. До этого он жил в деревушке Сэйлби, что в английском графстве Линкольншир, и никто до сих пор не знает, почему он назвал наш городок Грейвсендом. Насколько известно, Джон Уилрайт не имел никакого касательства к тому Грейвсенду, что в Англии, хотя название нашего городка, несомненно, происходит именно оттуда. Уилрайт окончил Кембриджский университет; он играл в футбол с самим Оливером Кромвелем, который относился к Уилрайту (как футболисту) одновременно с благоволением и недоверием. По мнению Оливера Кромвеля, Уилрайт играл слишком жестко, даже грязно, мастерски умел поставить противнику подножку и затем упасть на него. Грейвсенд (тот, что в Англии) находится в графстве Кент – на довольно приличном расстоянии от угодий Уилрайта. Может, у него был друг оттуда родом, может, он хотел уехать в Америку вместе с Уилрайтом, но почему-то не смог покинуть Англию, а может, поехал, но умер в дороге.

Согласно «Истории Грейвсенда, штат Нью-Гэмпшир» Уолла, преподобный Джон Уилрайт изначально был добропорядочным священником англиканской церкви, пока не начал «подвергать сомнению некоторые догматы»; он стал пуританином, и впоследствии «церковные власти запретили ему проповедовать за его инакомыслие». Мне кажется, неумением разобратся в собственной вере, равно как и упрямством, я во многом обязан своему предку, которому доставалось не только от англиканского духовенства: стоило ему уехать в Новый Свет и обосноваться в Бостоне, как он почти тут же разругался с собратьями-пуританами. Вместе со знаменитой миссис Хатчинсон преподобный Джон Уилрайт был изгнан из Колонии Массачусетского залива за нарушение «гражданского согласия». На самом деле его бунтарство ограничилось несколькими еретическими замечаниями о том, где, по его мнению, пребывает Святой Дух, – но суд массачусетцев был суров. Его лишили оружия, и тогда он вместе с семьей и самыми смелыми из своих сторонников отправился морем на север от Бостона, к заливу Грейт-Бей. По пути он, должно быть, миновал два более ранних нью-гэмпширских поселения: одно в устье реки Паскатакуа (то место, что позже назвали Земляничным побережьем, теперь это город Портсмут), другое – в Довере.

Затем Уилрайт поднялся из залива Грейт-Бей вверх по реке Скуамскотт. Он дошел до порогов, где пресная вода смешивается с морской и где кругом стоят густые леса. Индейцы научили Уилрайта ловить рыбу. По словам Уолла, автора «Истории Грейвсенда», там «простирались дикие луга», а кое-где «к самому берегу подступали болота».

Местного сагамора звали Ватахантауэт. Вместо подписи он поставил под документом изображение своего тотема в виде человека без рук. Вокруг этой сделки с индейцами потом возникали кое-какие споры, – впрочем, ничего интересного. Куда интереснее было послушать разные домыслы насчет того, *почему* тотемом Ватахантауэта был безрукий человек. Некоторые говорили, мол, отдавая всю эту землю, сагамор, должно быть, испытывает такое же чувство, как если бы ему отрубили руки. Другие обращали внимание на то, что более ранние образцы «подписи» Ватахантауэта представляли собой все ту же фигуру безрукого человека, но с пером во рту – что понималось как свидетельство огорчения сагамора из-за своего неумения писать. Однако на некоторых других изображениях тотема, приписываемых все тому же Ватахантауэту, человек держит во рту томагавк и выглядит при этом совершенно безумным. А может, это

просто символ мира, – мол, рук нет, томагавк во рту, все это вместе, наверное, должно означать, что Ватахантауэт не собирается ни с кем воевать. Что касается расчета по этой сомнительной сделке, можно не сомневаться, индейцы от нее отнюдь не выиграли.

А потом наш город попал под власть Массачусетса (может быть, поэтому жители Грейвсенда и по сей день терпеть не могут выходцев из Массачусетса), и переехал тогда мистер Уилрайт в Мэн. Ему было восемьдесят, когда он выступал в Гарварде, призывая делать пожертвования на ремонт одного из зданий университета, сгоревшего при пожаре, – словно демонстрируя, что он, в отличие от прочих обитателей Грейвсенда, не держит зла на жителей Массачусетса. Умер Уилрайт в Солсбери, штат Массачусетс, дожив почти до девяноста лет и до последних дней оставаясь духовным главой местной церкви.

Но если вы посмотрите на имена отцов-основателей Грейвсенда, то фамилии Мини среди них не найдете:

Барлоу
Блэкуэлл
Дирборн
Коул
Коупленд
Кроули
Литтлфилд
Рид
Ришуорт
Смарт
Смит
Уокер
Уорделл
Уэнтворт
Хатчинсон
Хилтон
Уилрайт.

Сомневаюсь, что мама оставила себе девичью фамилию только из-за того, что она была Уилрайт. Думаю, ее чувство собственного достоинства проистекало вовсе не из гордости своим происхождением; она точно так же оставила бы себе девичью фамилию, родись она в семье Мини. И в те годы я не испытывал никаких неудобств оттого, что носил ее имя. Меня звали маленьким Джонни Уилрайтом, отец неизвестен, и тогда меня это вполне устраивало. Я никогда не жаловался. Когда-нибудь, думал я, она мне все об этом расскажет – когда я немного подрасту. Очевидно, эта история относилась к разряду тех, которые можно узнать, только «когда немного подрастешь». Но когда мамы не стало, – а я так и не дождался от нее ни слова о том, кто мой отец, – вот тогда я почувствовал, что меня обманули, мне не рассказали того, на что я имел полное право. Лишь после маминой смерти я слегка рассердился на нее за это. Пусть ей было неприятно говорить, кто мой отец и что у нее с ним произошло, пусть даже их отношения были настолько грязными, что одно упоминание о них могло бы выставить их обоих в неприглядном свете, – и все же не слишком ли эгоистично она поступила, ни словом не обмолвившись о моем отце?

Хотя, конечно, как справедливо заметил Оуэн Мини, когда мамы не стало, мне было всего одиннадцать лет, а ей самой – только тридцать. Она наверняка думала, что у нее еще будет время все мне рассказать. Откуда она знала, что ей суждено скоро умереть, как выразился Оуэн Мини.

Как-то раз мы с Оуэном швыряли камни в Скуамскотт, речку с морской водой, где бывали приливы и отливы. Вернее сказать, это я швырял камни в речку; камни Оуэна шлепались в

ил, обнажившийся на время отлива, – до воды он своей слабой ручонкой добросить не мог. Испуганным чайкам, которые перед нашим приходом что-то клевали в тине, пришлось перебираться подальше, на болотистые кочки на том берегу реки.

Стоял жаркий и душный летний день; в воздухе висел противный солоноватый запах разлагающихся водорослей – в тот день он шибал в нос сильнее обычного. Оуэн Мини сказал, что мой отец обязательно узнает о смерти мамы и что, когда я немного подрасту, он объявится.

– Если он сам жив, – заметил я, бросая очередной камешек. – Если он жив и если ему не наплевать, что он мой отец. И если он вообще знает, что он мой отец.

И хотя тогда я не поверил Оуэну Мини, именно тот день можно считать началом пути, по которому он потихоньку привел меня к вере в Бога. Оуэн выбирал самые маленькие камешки, но у него все равно никак не получалось добросить их до воды. Некоторое удовольствие, конечно, доставлял и тот звук, с которым камни шлепались в прибрежную грязь, но все-таки услышать всплеск воды было удовольствием гораздо большим. И как-то почти небрежно, с поразительной самоуверенностью, неестественной для такой крошечной фигурки, Оуэн Мини сказал мне, что мой отец, конечно, жив и он, конечно, знает, что он мой отец, и что Бог тоже знает, кто мой отец. И если даже он сам мне не откроется, сказал Оуэн, его мне откроет Бог.

– ТВОЙ ОТЕЦ МОЖЕТ СКРЫТЬСЯ ОТ ТЕБЯ, – заметил Оуэн. – НО ОТ БОГА ЕМУ НЕ СКРЫТЬСЯ.

Провозгласив это, Оуэн Мини крякнул, швырнув очередной камень, и тот шлепнулся в воду. Нас обоих это здорово удивило. Больше мы камней не швыряли, а лишь стояли и смотрели, как по воде расходятся круги, пока чайки наконец не поверили, что мы больше не будем тревожить их мирок, и не вернулись на наш берег.

Долгие годы наша река славилась своей семгой (сегодня рыбачить в Скуамскотте – дохлый номер, в том смысле, что вытащить можно разве что какую-нибудь дохлую рыбину). И сельди было когда-то полно – еще в моем детстве рыбы в реке хватало, и мы с Оуэном частенько рыбачили вместе. От Грейвсенда до океана всего девять миль. Скуамскотт, конечно, никогда не мог сравниться с Темзой, но раньше в Грейвсенд заходили даже океанские суда. С тех пор русло обмелело, забитое камнями и обломками скал, и ни одному мало-мальски крупному кораблю здесь теперь не пройти. И если возлюбленная капитана Джона Смита, несчастная Покахонтас, нашла свое последнее пристанище в английской земле – на кладбище приходской церкви исконного Грейвсенда, – то в нашем Грейвсенде духовно безрукий Ватахантауэт так и не был похоронен. Единственным сагамором, погребенным у нас в городе со всеми церемониями, стал тот самый черный лабрадор мистера Фиша, что угодил на Центральной улице под грузовик с пеленками. Его предали земле в розовом саду моей бабушки, в торжественном присутствии соседских ребятишек.

Больше века в Грейвсенде в основном торговали лесом. Собственно, во всем штате Нью-Гэмпшир лес долгое время оставался самым доходным товаром. Хотя Нью-Гэмпшир и называют Гранитным штатом – здесь добывают гранит для стройки, для дорожных бордюров и для надгробий, – все это не идет ни в какое сравнение с тем давним лесоторговым бумом. Можно не сомневаться: когда здесь вырубят все деревья, камня еще останется предостаточно; правда, что касается гранита, то большая его часть, конечно, под землей.

Мой дядя тоже торговал лесом – дядя Альфред, компания «Истмэн Ламбер». Дядя Альфред женат на маминой сестре – и моей тетке – Марте Уилрайт. Меня в детстве часто возили в гости к двоюродным братьям и сестре, и я видел, как сплавляют лес, какие бывают на реке заторы, а как-то пару раз даже участвовал в состязаниях: нужно было пробежать по плывущим бревнам, сталкивая соперников в воду. Боюсь, я был слишком неопытен, чтобы соревноваться с братьями и сестрой на равных. А теперь бизнес дяди Альфреда (перешедший в руки его сыновей, так что вернее будет называть это бизнесом моих двоюродных братьев) – это торговля

недвижимостью. В Нью-Гэмпшире, если ты вырубил все свои деревья, приходится торговать тем, что осталось.

Зато гранита в Гранитном штате всегда будет хватать, и семья маленького Оуэна Мини занималась добычей гранита. Вообще в нашей не слишком обширной приморской части Нью-Гэмпшира это дело никогда не считалось перспективным, но их гранитный карьер располагался как раз над таким местом, которое геологи называют «экстерским плутоном». Оуэн Мини говаривал, что мы тут в Грейвсенде буквально сидим на «голове интрузивного магматического пласта»; он произносил это с каким-то затаенным благоговением – так, будто в глазах всякого грейвсендца этот самый магматический пласт по ценности не уступал золотоносной жиле.

Моя бабушка – возможно, в силу своего «мэйфлауэровского» происхождения – к дереву относилась с большим почтением, чем к камню. Из каких-то неведомых мне соображений Харриет Уилрайт считала торговлю лесом «чистым» занятием, а гранитное дело – «грязным». Мне было все равно, потому что дед мой держал обувное предприятие; но он умер еще до того, как я родился, и его известное решение не допускать у себя никаких профсоюзов – то единственное, что я о нем слышал. Бабушка довольно удачно продала фабрику, и я впитал ее убеждения, что губить деревья, зарабатывая на жизнь, – это благородно, а иметь дело с камнем – низко. Магнатов лесного дела – таких как мой дядя Альфред Истмен – знают многие, но кто хоть когда-нибудь слыхивал о гранитных магнатах?

Гранитный карьер Мини в Грейвсенде сейчас стоит без дела. Изрытая земля с глубокими и опасными водоемами – все это сегодня не имеет никакой ценности даже как недвижимость, и никогда не имело, если верить моей маме. Она говорила, что карьер стоит без дела еще со времени ее детства и что все судорожные попытки Мини возродить его обречены на провал. По словам мамы, весь пригодный для обработки гранит добыли задолго до того, как Мини переехали в Грейвсенд. (Насчет того, *когда* Мини переехали в Грейвсенд, мне всегда говорили, что это произошло «примерно в то время, когда ты родился».) К тому же лишь малую часть того гранита, что лежит под землей, стоит добывать; остальной – или с дефектами, или лежит так глубоко, что его невозможно извлечь, не раскрошив.

Оуэн мог без конца толковать о таких вещах, как угловые камни и надгробные памятники; все, что нужно для ПРИЛИЧНОГО памятника, пояснял он, – это достаточно большой, гладкий и ровно отрезанный кусок гранита без внутренних дефектов. Тонкости, в которые пускался Оуэн, – и его собственное тонкое и хрупкое сложение – странно контрастировали с грубой тяжестью огромных гранитных глыб, которые на наших глазах грузили на автоплатформы, с диким грохотом карьера, пронзительным визгом, с которым вгрызались в породу резцы врубочной машины – наконецник этой машины Оуэн называл БАРОМ, – и взрывами динамита.

Я, помню, тогда все поражался, как Оуэн умудрился не оглохнуть. В самом деле, что-то произошло с его голосом и ростом, но слух, на удивление, совершенно не пострадал – несмотря на всю ударную мощь гранитного бизнеса.

Именно Оуэн познакомил меня с «Историей Грейвсенда» Уолла, хотя полностью эту книгу я прочел, только когда учился в выпускном классе Грейвсендской академии¹, где этот труд входит в обязательный курс по истории городка. Оуэн прочел эту книгу, когда ему не было еще и десяти лет. Он сказал мне, что УИЛРАЙТЫ ТАМ ЧУТЬ ЛИ НЕ НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ.

Я родился в фамильном доме Уилрайтов на Центральной улице. Когда я был ребенком, мне не давал покоя вопрос, почему мама решила родить меня, однако не пожелала объяснять, откуда я взялся, – ни мне, ни своей матери с сестрой. Моя мама отнюдь не была распутной

¹ Академией в США называют частные привилегированные учебные заведения для старших школьников.

девицей. То, что она забеременела и при этом отказывалась обсуждать эту тему, должно быть, сильно поразило Уилрайтов, тем более что мама всегда отличалась очень спокойным и скромным нравом.

Она познакомилась с одним мужчиной в поезде «Бостон – Мэн» – вот все, что она могла рассказать.

Моя тетя Марта заканчивала колледж и уже была помолвлена, когда мама объявила, что вовсе не собирается поступать в колледж. Дед тогда уже был смертельно болен, и у бабушки, которая день и ночь возилась с ним, наверное, просто сил не осталось потребовать от мамы (как в свое время от тети Марты), чтобы та получила высшее образование. Кроме того, мама уверяла, что лучше она останется дома и поможет ухаживать за умирающим дедом – а такая помощь была бабушке в самом деле необходима. А тут еще преподобный Льюис Меррил, пастор конгрегационалистской церкви и руководитель хора, в котором пела моя мама, сумел убедить бабушку с дедушкой, что с маминым голосом стоит серьезно заниматься пением; уроки у хорошего преподавателя, говорил мистер Меррил, – ничуть не менее разумное «вложение средств», чем университетское образование.

И этот момент маминой биографии у меня изначально вызывал вопросы. Если уроки пения были так важны для мамы, почему она занималась только раз в неделю? И если бабушка с дедушкой согласились с мнением мистера Меррила, почему они так упорно противились тому, чтобы мама раз в неделю ночевала в Бостоне? Мне казалось, ей следовало бы вообще переехать в Бостон и брать уроки каждый день! Хотя, я думаю, неизлечимая болезнь деда объясняла многое – бабушке всегда нужно было иметь под рукой помощницу, и мама охотно помогала ей по дому.

Уроки пения проходили рано утром – поэтому-то маме и приходилось отправляться в Бостон накануне и ночевать там; от Грейвсенда поезд шел полтора часа. Мамин преподаватель был человек очень известный и занятой и потому мог уделить ей лишь ранние часы. По словам мистера Меррила, ей повезло, что он вообще согласился ее прослушать: обычно он занимался только с профессионалами. А мама, хоть и пела с детства вместе с тетей Мартой в церковном хоре, к профессионалам явно не относилась. Просто у нее был приятный голос, и она – по обыкновению покладисто, даже робко – приступила к занятиям.

Надо сказать, мамины родители легче, чем ее сестра, смирились с тем, что она не будет поступать в колледж. Тетя Марта, вообще-то женщина очень милая, не просто не одобряла мамино решение – она возмущалась, пусть даже и не очень бурно. Все-таки голос у моей мамы был лучше, да и вообще она была красивее своей сестры. Когда обе девочки подросли, именно тетя Марта стала приглашать парней из Академии в наш большой дом на Центральной улице, чтобы познакомить их с родителями, – Марта была старше и первой начала водить «кавалеров», как их называла мама. Но стоило этим ребятам увидеть мою маму – даже еще совсем маленькую, – как их интерес к тете Марте тут же улетучивался.

И вдруг эта необъяснимая беременность! По словам тети Марты, деда в то время «уже мало что заботило» – он был совсем плох и так и не узнал, что его дочь беременна, хотя «она не слишком-то старалась это скрывать», как говорила тетя Марта. Бедный дед, уверяла она, «умер, так и не поняв, с чего это твоя мама так располнела».

Во времена молодости тети Марты тем, кто вырос в Грейвсенде, Бостон представлялся не иначе как гнездом разврата. И хотя мама останавливалась в исключительно благопристойном женском общежитии, где за девушками присматривали, она все же умудрилась, по выражению тети Марты, «согрешить» с каким-то мужчиной, с которым познакомилась в поезде «Бостон – Мэн».

Моя мама была настолько тихой и сдержанной, настолько спокойно воспринимала любые упреки и даже клевету, что ее вполне устраивала такая формулировка Марты, – я даже слышал, как она сама ласково обыгрывала это слово.

– Ах ты, мой грешок, – называла она меня иногда с нежностью. – Маленький мой грешок!

А от своих двоюродных братьев я впервые узнал, что мою маму считали «дурехой», они сами слышали это не иначе как от *своей* матери – тети Марты. Но в то время, когда этот обидный намек – «дуреха» – дошел до моих ушей, он уже никого не мог ранить: мамы не было в живых больше десяти лет.

И все же она явно обладала чем-то большим, нежели природная красота, прелестный голос и сомнительные умственные способности. Не зря тетя Марта считала, что мои бабушка с дедушкой баловали ее. Причем не только как младшую в семье; тут дело было в мамином характере: ее никогда не видели сердитой или печальной, ей не свойственно было раздражаться или жаловаться. Она отличалась таким мягким нравом, что сердиться на нее было совершенно невозможно. Тетя Марта говорила: «По ней никогда не скажешь, какая она на самом деле решительная». Мама просто поступала как хотела, а потом говорила со своей обезоруживающей улыбкой что-нибудь вроде: «О, поверьте, мне ужасно жаль, что я вас огорчила, но, честное слово, я постараюсь, чтобы вы простили меня и продолжали любить, как если бы ничего не произошло!» И это помогало!

Это помогало, по крайней мере до тех пор, пока она не погибла – и уже ничего ни пообещать, ни исправить не могла, – загладить подобное огорчение даже она оказалась не в силах.

И после того как она, не обращая ни на кого внимания и ни перед кем не оправдываясь, выносила и родила меня и назвала в честь отца-основателя Грейвсенда, и после того, как она заставила смириться с этим своих мать и сестру, а также весь город (не говоря уже о конгрегационалистской церкви, где она продолжала петь в хоре и нередко участвовала в разных торжествах, которые устраивались для прихожан), и даже после того, как она с достоинством вышла из щекотливой ситуации, связанной с моим незаконным рождением (ко всеобщему удовлетворению – или, во всяком случае, так казалось), – после всего этого она по-прежнему продолжала каждую среду ездить на поезде в Бостон и по-прежнему оставалась ночевать в этом жутком городе, чтобы рано утром свежей и бодрой являться на свои уроки пения.

Когда я немного подрос, то стал на это обижаться – по крайней мере, иногда. За все время она лишь пару раз отменила свои занятия и осталась со мной – один раз, когда я болел свинкой, а в другой раз – ветрянкой. И еще, когда мы с Оуэном ловили рыбу в канале, что проложен под Суэйзи-Парквей для отвода воды из Скуамскотта во время приливов, и я поскользнулся и сломал себе запястье – в ту неделю мама тоже не села в бостонский поезд. А так она ездила в Бостон каждую неделю и оставалась там на ночь, пока мне не исполнилось десять лет и она не вышла замуж за человека, который меня официально усыновил и стал вместо отца. До тех самых пор она продолжала петь. Стал ли ее голос лучше – никто мне потом толком сказать не мог.

Так вот, я родился в доме бабушки – громадном кирпичном здании, выстроенном в федеральном стиле. Во времена моего детства дом отапливался углем. Подвал, куда по желобу сыпали уголь, находился как раз под флигелем, где была моя спальня. Уголь привозили очень рано утром, и от грохота, с которым он скатывался вниз, я всегда просыпался. В те редкие дни, когда доставка угля приходилась на четверг (когда мама была в Бостоне), я просыпался от этого грохота и представлял, что как раз в эту секунду мама начинает петь. Летом, когда окна стояли открытыми, я просыпался от пения птиц в бабушкином розовом саду. Кстати, с этим садом связано еще одно предубеждение моей бабушки, родственное ее представлениям о камнях и деревьях: выращивать просто цветы или просто овощи может кто угодно, но настоящий садовод выращивает розы. Бабушка была настоящим садоводом.

Другим кирпичным зданием, сравнимым по размеру с бабушкиным домом на Центральной улице, была грейвсендская гостиница. Естественно, приезжие часто принимали за гости-

ницу бабушкин дом, после того как им где-нибудь в центре объясняли дорогу: «Как пройдете Академию, ищите большой кирпичный дом по левой стороне».

Бабушку все это раздражало – ей вовсе не льстило, что ее дом принимают за гостиницу. «Это не гостиница, – бывало, объявляла она очередному сбитому с толку путешественнику, который явно рассчитывал, что ему навстречу выйдет кто-нибудь помоложе и поможет поднести вещи. – Это мой дом, – поясняла бабушка. – Гостиница там дальше», – говорила она, махнув рукой в неопределенном направлении. «Там дальше» – это еще довольно точное указание по сравнению с другими, принятыми у нас в Нью-Гэмпшире. В наших краях не очень-то любят показывать дорогу – мы склонны считать, что если вы не знаете, куда идти, то вам вообще здесь делать нечего. В Канаде дорогу показывают гораздо охотнее – куда угодно, любому, кто спрашивает.

Еще в нашем доме на Центральной имелся потайной ход: за книжным шкафом, который на самом деле служил дверью, находилась лестница, спускавшаяся в подвал с земляным полом, причем подвал этот никак не сообщался с другим подвалом – с тем, где стояла угольная топка. Да, вот именно так: книжный шкаф, а на самом деле дверь, и за ней никуда не ведущий подземный ход – это был просто тайник, чтобы прятаться. Я никак не мог понять: *от чего* прятаться? При мысли о том, что в нашем доме существует потайной ход в никуда, мне становилось как-то не по себе; более того, я все время пытался представить то ужасное, от чего нужно *прятаться*, – а от таких мыслей станет не по себе кому угодно.

Как-то раз я повел туда Оуэна Мини и бросил его там в темноте, от чего он до смерти перепугался. Я, конечно, проделывал эту штуку со всеми своими друзьями, но пугать Оуэна Мини было стократ интереснее из-за его пронзительного, жутковатого голоса. Я пытаюсь подражать голосу Оуэна Мини вот уже четвертый десяток лет; раньше мне и в голову не приходило, что когда-нибудь сумею написать об Оуэне, да и передать на бумаге звуки его голоса невозможно. Я даже не думал, что когда-нибудь смогу хоть рассказать об Оуэне; а уж при мысли о том, чтобы на людях подражать его голосу, мне становилось неловко. На то, чтобы набраться смелости и попытаться воспроизвести голос Оуэна перед чужими людьми, у меня ушло больше тридцати лет.

Тот крик Оуэна Мини, когда он потребовал прекратить издеваться над ним, так подействовал на мою бабушку, что, как только Оуэн ушел домой, она позвала меня и сказала:

– Мне неинтересно, что ты там такое проделывал с этим несчастным ребенком, что заставило его *так* орать; но если ты когда-нибудь снова будешь это делать, прошу тебя, зажми ему рот ладонью. Ты когда-нибудь видел мышь в мышеловке? – неожиданно спросила она. – Ну, когда у нее перебит хребет? То есть *совершенно мертвую* мышь, понимаешь? Так вот, я думаю, если бы эта мышь слышала эти вопли, она бы ожила!

И теперь мне кажется, что голос Оуэна и вправду был похож на тысячекратно усиленные голоса всех когда-то убитых мышей, снова вернувшихся к жизни.

Я вовсе не хотел изобразить свою бабушку бесчувственной. У нее была горничная по имени Лидия, родом с острова Принца Эдуарда. Она готовила еду и прибиралась у нас в доме, кажется, с незапамятных времен. Когда у Лидии обнаружили рак и отняли ей правую ногу, бабушка наняла двух новых горничных, одну из них – чтобы ухаживала за Лидией. Лидия больше не работала ни дня. У нее была собственная комната и свои излюбленные маршруты передвижения по огромному дому – в инвалидном кресле. Она стала инвалидом на полном обеспечении; моя бабушка не исключала того, что когда-нибудь и сама станет таким же инвалидом, а кто-нибудь вроде Лидии будет за ней ухаживать. Мальчики-рассыльные и гости часто принимали Лидию за мою бабушку, так царственно та восседала в своем инвалидном кресле, да к тому же они с бабушкой были примерно одних лет. Они каждый день вместе пили чай и часто играли в бридж с давними бабушкиными партнершами – теми самыми дамами, которым Лидия раньше подносила чай. Даже тетя Марта поражалась тому сходству с моей бабушкой,

которое Лидия приобрела незадолго до смерти. Ко всему прочему, Лидия имела привычку сообщать бесчисленным посетителям и рассыльным – с некоторой ноткой возмущения, которую она явно позаимствовала у бабушки: «Я не миссис Уилпрайт, я бывшая горничная миссис Уилпрайт». Это говорилось совершенно тем же тоном, каким бабушка обычно заявляла, что это ее дом, а не грейвсендская гостиница.

Так что и бабушке ничто человеческое не было чуждо. И если она надевала вечерние платья, когда возилась с розами в саду, это означало всего лишь, что в этих платьях она больше не собирается выходить в свет. Просто она не хотела, чтобы ее видели одетой кое-как даже в саду. А если очередное платье становилось слишком грязным, она выбрасывала его. Когда мама предложила сдавать эти платья в стирку, бабушка вспыхнула: «Еще чего! Чтобы там все голову ломали, чем я таким занималась в этом платье, что так его перепачкала?»

От бабушки я усвоил, что логика – вещь относительная.

Впрочем, ведь я же рассказываю об Оуэне Мини и о том, как я упражнялся в подражании его голосу. Этот мультяшный какой-то голосок повлиял на меня даже больше, чем властная мудрость моей бабушки.

Под конец жизни бабушку стала подводить память. Как у многих старых людей, у нее гораздо прочнее держались в голове истории времен собственного детства, чем недавние эпизоды из жизни детей, внуков и правнуков. Чем ближе были события к настоящему моменту, тем труднее ей было сохранять их в памяти. «Я помню тебя маленьким мальчиком, – говорила она мне еще не так давно, – но когда я сейчас смотрю на тебя, то не знаю, кто ты такой». Я ответил ей тогда, что порой и сам этого не знаю. И вот в одном из подобных разговоров я спросил, помнит ли она маленького Оуэна Мини.

– Того деятеля? – переспросила она. – Из профсоюза?

– Нет, *Оуэна* Мини, – сказал я.

– Нет, – ответила она. – Определенно не помню.

– Из семьи, что занималась гранитным бизнесом, – напомнил я ей. – Гранитный карьер Мини. Помнишь?

– Гранит? – поморщилась она. – Конечно нет!

– Может, ты помнишь его голос? – не давал я покоя бабушке, которой в то время было уже почти сто лет.

Но она лишь отрицательно качала головой, выражая явное нетерпение. Я собирался с духом, чтобы самому изобразить голос Оуэна.

– Я выключил свет в нашем потайном подвале и напугал его, – пытался я воскресить в бабушкиной памяти тот случай.

– Да ты все время так делал, – безразлично промолвила она. – Ты даже с Лидией устроил эту штуку – еще когда у нее нога была на месте.

– **«ВКЛЮЧИ СВЕТ! – заверещал Оуэн Мини. – КТО-ТО ТРОГАЕТ МОЕ ЛИЦО! ВКЛЮЧИ СВЕТ! У НЕГО ЯЗЫК! МЕНЯ КТО-ТО ЛИЖЕТ!»** – визжал Оуэн.

«Да это же паутина, Оуэн», – помню, сказал я тогда.

«ОНО СЛИШКОМ МОКРОЕ, ПАУТИНА ТАКАЯ НЕ БЫВАЕТ! ЭТО ЧЕЙ-ТО ЯЗЫК! ВКЛЮЧИ СВЕТ!»

– Перестань! – вскрикнула бабушка. – Я вспомнила, вспомнила, Господи помилуй, – сказала она. – *Никогда* не смей больше так делать!

Вот так благодаря бабушке у меня появилась уверенность, что я действительно умею подражать голосу Оуэна Мини. Даже когда память ей почти отказала, она все еще помнила этот голос. Помнила ли бабушка, что от руки Оуэна погибла ее собственная дочь, она не говорила. Незадолго до смерти она забыла даже, что я принял англиканство и эмигрировал в Канаду.

Если воспользоваться определением бабушки, Мини не принадлежали к «мэйфлауэрским». Они не происходили от отцов-основателей Америки, и никаких родственных связей между ними и Джоном Адамсом не прослеживалось. Мини были потомками более поздней волны иммигрантов – бостонских ирландцев. Они переехали в Нью-Гэмпшир из Бостона, который никогда не имел с Англией ничего общего; до этого они жили в Конкорде, что тоже в Нью-Гэмпшире, и в Барре, штат Вермонт, – куда более «пролетарских» городах, нежели Грейвсенд. Вот это были настоящие гранитные королевства Новой Англии. Бабушка полагала, что любая работа под землей или в карьере – это удел тех, кто привык *пресмыкаться*, и те, кто этим занимается, больше похожи на кротов, чем на людей. Что касается семьи Мини, никто из них кротовьей низкорослостью не отличался – кроме Оуэна.

В ответ на все дурацкие шуточки, что мы с ним проделывали, сам он разыграл нас всего один раз. Нам разрешалось купаться в одном из карьеров его отца – но только при условии, что мы будем делать это поочередно, крепко обвязавшись вокруг пояса веревкой. Строго говоря, нормально *купаться* в этих карьерах – так чтобы вволю поплавать и понырять – никто не мог: по слухам, там было глубоко, как в океане, и уж по крайней мере так же холодно, даже в самый разгар лета. Вода стояла черная и неподвижная, словно нефтяное озеро. И не столько холод заставлял нас выскакивать обратно на берег, едва окунувшись, сколько ощущение этой безмерной глубины – страх от того, что подстерегает на самом дне, страх от мысли, есть ли там дно вообще.

На обвязывании веревкой настоял мистер Мини, отец Оуэна; он также настоял, чтобы мы купались по одному и недолго – туда и обратно. Таково было одно из немногих установленных взрослыми правил, которое никто никогда не нарушал – кроме одного-единственного раза, когда это сделал Оуэн. Ни один из нас не осмеливался оспорить запрет; никому не приходило в голову отвязать веревку и нырнуть в неизведанную глубину безо всякой гарантии, что в случае чего его спасут.

Но однажды погожим августовским днем Оуэн Мини, нырнув, отвязал веревку и, пока мы все ждали, что он вынырнет, подплыл под водой к незаметной расщелине на противоположном скалистом берегу и спрятался там. Не дождавшись его появления на поверхности, мы принялись вытягивать веревку. Мы уже привыкли, что он почти невесом, и потому отказывались верить своим рукам, которые говорили нам, что на другом конце веревки никого нет. Мы не верили, что он исчез, до тех пор, пока из воды не показался разбухший узел. Что за тишина тут наступила! Только капли, стекая с повисшего конца веревки, срывались в воду.

Никто из нас не позвал его, никто не нырнул, чтобы поискать. В этой воде все равно ведь ничего не увидишь! Я привык утешать себя мыслью, что в конце концов мы бы все-таки бросились в воду – если бы он дал нам еще хоть пару секунд собраться с духом. Но Оуэн уже счел нашу реакцию слишком вялой и равнодушной. Он выплыл из расщелины в скале на противоположном берегу и, легко, словно клоп-водомерка, скользя по поверхности воды, стал приближаться к нам, пересекая эту страшную яму, дно которой, мы были уверены, находится где-то в самом центре Земли. Он подплыл к нам и вылез на берег злой, как тысяча чертей.

– КСТАТИ, НАСЧЕТ ОБИД! – выкрикнул он. – ЧЕГО ВЫ, ИНТЕРЕСНО, ДОЖИДАЛИСЬ? ПОКА ПУЗЫРИ ПОЙДУТ? ВЫ ДУМАЕТЕ, Я РЫБА, ЧТО ЛИ? НИКТО ДАЖЕ НЕ СОБИРАЛСЯ МЕНЯ ПОИСКАТЬ, ВЕРНО?

– Ты нас напугал, Оуэн, – сказал кто-то.

Мы были слишком напуганы, чтобы защищаться, если слово «защищаться» вообще уместно в отношении Оуэна.

– ВЫ ДАЛИ МНЕ УТОНУТЬ! – сказал Оуэн. – И НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ! ПРОСТО СТОЯЛИ И СМОТРЕЛИ, КАК Я ТОНУ! СЧИТАЙТЕ, ЧТО Я УЖЕ МЕРТВЕЦ, ПОНЯТНО? – кричал он нам. – ЗАПОМНИТЕ ЭТО: ВЫ СПОКОЙНО ДАЛИ МНЕ УМЕРЕТЬ.

Что я помню лучше всего, так это воскресную школу при епископальной церкви. И Оуэн, и я были там новичками. Когда мама вышла замуж за другого мужчину, с которым познакомилась в поезде, мы с ней сменили церковь. Мы покинули конгрегационалистов, чтобы перейти в церковь моего отчима, – мама говорила, он епископал, и, хотя я ни разу не видел никаких свидетельств того, что он и вправду исключительно ревностный епископал, мама настаивала, чтобы мы перешли в его церковь. Эта перемена довольно сильно встревожила бабушку, ведь мы, Уилрайты, принадлежали к конгрегационалистской церкви еще с тех самых пор, как покончили со своим пуританством («с тех самых пор, как мы *почти* покончили со своим пуританством», говорила бабушка, потому что, по ее мнению, пуританизм никогда до конца не утрачивал своего влияния на нас, Уилрайтов). Некоторые из Уилрайтов – и не только наш отец-основатель – сами принадлежали к духовенству; в прошлом веке – к духовенству конгрегационалистской церкви. А еще эта перемена очень огорчила нашего пастора, преподобного Льюиса Меррилла; он как-никак крестил меня, а сейчас был просто-таки безутешен при мысли о том, что его хор лишится моей мамы. Он знал ее с юных лет и, как она не устала повторять, всеми силами поддержал ее, когда она, по обыкновению спокойно и доброжелательно, заявила, что мое происхождение никого не касается.

Эта перемена церкви, как дальше будет видно, и мне не очень-то легко далась. Но Оуэн, когда хотел напустить таинственности, имел привычку намекать на нечто столь жуткое и ужасное, что об этом даже и упоминать нельзя. Он, по его словам, поменял церковь, **ЧТОБЫ СБЕЖАТЬ ОТ КАТОЛИКОВ**, – вернее, на самом деле это его отец сбежал от них и пошел им наперекор, отдав Оуэна в воскресную школу, чтобы тот подтверждался в епископальной церкви. Ничего особенного нет в том, что конгрегационалист становится епископалом, говорил Оуэн; это просто шаг «вверх», к большей обрядности, ко всем этим **ФОКУСАМ**, как он выражался. Для католика же перейти в епископальную церковь – значит не просто отказаться от «**ФОКУСОВ**»; таким переходом можно навлечь на себя вечное проклятие. Оуэн мрачно намекал, что его отец, несомненно, будет проклят за то, что затеял этот переход, но, с другой стороны, католики нанесли им **НЕВЫРАЗИМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ** – они непоправимо обидели его отца и мать.

Когда я начинал жаловаться, что во время епископальной службы надо вставать на колени – а для меня и это было в новинку, не говоря уже о многочисленных литаниях и декламации Символа Веры, – Оуэн отвечал, что я еще многого не знаю. Католики, мол, не только встают на колени и бормочут литании без остановки, – они до того обставили обрядами любую попытку обратиться к Богу, что мешают ему, Оуэну, молиться – мешают поговорить с Богом, как он выразился, **НАПРЯМУЮ**. А чего стоит исповедь! Я, видите ли, жалуясь, что нужно вставать на колени, а что я знаю об исповедании своих грехов? Оуэн уверял, что неизбежность исповеди для католика так давила на него, что он часто нарочно делал что-нибудь нехорошее, чтобы потом получить прощение.

– Но это же идиотизм! – говорил я.

Оуэн соглашался со мной. А отчего произошла размолвка между католической церковью и мистером Мини, часто спрашивал я. Но Оуэн так ни разу и не ответил. Ничего уже не поправишь, повторял он всякий раз. Все, что он мог сказать, сводилось к одному: **НЕВЫРАЗИМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ**.

Вероятно, от огорчения по поводу перехода из конгрегационалистской церкви в епископальную – на фоне торжества Оуэна, **СБЕЖАВШЕГО** от католиков, – я получал такое удовольствие от поднимания Оуэна. Как мне представляется сейчас, мы все были виноваты, полагая, будто он существует единственно для нашего развлечения; но что до меня – моя вина, думаю, еще и в том, что я завидовал ему, и особенно в стенах епископальной церкви. Мне кажется, мое участие в издевательствах над Оуэном в воскресной школе отдавало мстительностью: он

верил сильнее меня, и, хотя я чувствовал это всегда, острее всего я ощущал это в церкви. Я недолюбливал епископалов: судя по всему, они верили сильнее – или верили в нечто большее, – чем конгрегационалисты; а поскольку вера моя была очень мала, мне удобнее было с конгрегационалистами: они требуют от верующих минимального участия.

Оуэн тоже недолюбливал епископалов, но их он недолюбливал гораздо меньше, чем католиков; по его мнению, и у тех и других вера меньше, чем его собственная, – но католики больше, чем епископалы, вмешивались в его убеждения и духовную практику. Он был моим лучшим другом, а лучшим друзьям мы прощаем несходство с нами. И только когда мы оказались в одной воскресной школе и одной церкви, мне пришлось признать, что вера моего друга гораздо тверже, если не догматичнее всего того, с чем мне приходилось сталкиваться прежде – и в конгрегационалистской, и в епископальной церкви.

Воскресной школы при конгрегационалистской церкви я не помню вовсе, хотя мама утверждала, что там я всегда много ел – и в самой воскресной школе, и на различных торжествах для прихожан. Я очень смутно помню печенье и сидр, зато очень отчетливо – с необычной, какой-то даже зимней ясностью – помню белую, обшитую деревом церковь, черные башенные часы и службу, которая всегда проводилась на втором этаже, при хорошем освещении и в непринужденной обстановке, словно в каком-нибудь молельном доме. За высокими окнами виднелись ветки высоких деревьев. В епископальной же церкви, напротив, служба проходила в полуподвальном сумраке. Эта церковь была сложена из камня, и там всюду стоял какой-то затхлый запах, как в погребе; кругом громоздилось множество всякой старинной деревянной утвари, мрачно поблескивало тусклое золото органных труб, а сквозь причудливые пестрые витражи было не разглядеть ни единой веточки.

Когда я жаловался на церковь, это были обычные детские жалобы – тут страшно и скучно. Но недовольство Оуэна имело религиозную подоплеку. «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ВЕРИТ ПО-СВОЕМУ, – говорил Оуэн Мини. – ЧТО ПЛОХО В ЦЕРКВИ – ТАК ЭТО СЛУЖБА. СЛУЖБА ПРОВОДИТСЯ СРАЗУ ДЛЯ ЦЕЛОЙ МАССЫ НАРОДА. КАК ТОЛЬКО МНЕ НАЧИНАЕТ НРАВИТЬСЯ ГИМН, ВСЕ ТУТ ЖЕ ХЛОПАЮТСЯ НА КОЛЕНИ И МОЛЯТСЯ. КАК ТОЛЬКО Я ПРИСЛУШИВАЮСЬ К МОЛИТВЕ, ВСЕ ВСКАКИВАЮТ И НАЧИНАЮТ ПЕТЬ. А ВЗЯТЬ ХОТЯ БЫ ЭТУ ДУРАЦКУЮ ПРОПОВЕДЬ – КАКОЕ ОНА ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К БОГУ? КОМУ ИЗВЕСТНО, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ БОГ ДУМАЕТ О ТЕКУЩИХ СОБЫТИЯХ? И КОГО ЭТО ВОЛНУЕТ?»

На эти жалобы, как и на другие подобного же рода, я мог ответить только тем, что подхватывал Оуэна, поднимал его над головой и передавал кому-нибудь другому.

«Ты слишком часто дразнишь Оуэна», – говорила, бывало, мама, хотя я не помню, чтобы я его часто дразнил, если не считать нашей обычной привычки поднимать его. Возможно, мама имела в виду, что я не хочу понять, насколько серьезен Оуэн – его могла обидеть любая шутка. В конце концов, он ведь прочитал «Историю Грейвсенда» Уолла, когда ему не было и десяти лет, а эта штука не каждому по силам – по крайней мере, походя такую книгу не прочитаешь. К тому же он прочел Библию – не в десять лет, конечно, но зато он прочел ее всю, от начала до конца!

А впереди у него маячила Грейвсендская академия; чисто теоретически она маячила впереди у каждого мальчишки, родившегося в Грейвсенде, – девчонок в то время туда не принимали. Но я в школе учился неважно, и, хотя бабушке вполне по средствам было оплачивать мое обучение в Академии, мне все же пришлось бы остаться в обычной грейвсендской средней школе, если бы мама не вышла замуж за преподавателя из Академии и он не усыновил меня. Дети преподавателей – или, как нас называли, «профессорские сынки» – автоматически получали право учиться в Академии.

Какое облегчение это, должно быть, принесло моей бабушке: она всю жизнь страдала, что ее собственные дети не могли пойти в Грейвсендскую академию, – у нее-то ведь были дочери. Моя мама и тетя Марта закончили обычную школу; с Грейвсендской академией они были связаны лишь постольку-поскольку – через своих «кавалеров». Хотя тетя Марта и этим сумела воспользоваться – она вышла замуж за парня, который там учился (одного из тех немногих, кто так и не предпочел тете Марте мою маму), так что мои двоюродные братья, как дети выпускника Академии, потом тоже получили право учиться там. (Моей единственной двоюродной сестре, правда, родство с выпускником Академии никаких выгод не принесло – но об этом позже.)

Однако Оуэн Мини вполне мог рассчитывать на поступление в Грейвсендскую академию: он блестяще учился в школе, и считалось само собой разумеющимся, что его примут в Академию. Стоило ему подать заявление, и его бы тут же приняли; мало того, он получил бы полную стипендию – ведь компания его отца никогда особо не процветала и родители не смогли бы платить за обучение. И вот однажды, когда моя мама везла нас с Оуэном на пляж – нам обоим тогда было десять лет, – она сказала:

– Я надеюсь, Оуэн, ты и дальше будешь помогать Джонни с уроками: ведь в Академии домашние задания гораздо труднее, особенно для Джонни.

– **НО Я НЕ СОБИРАЮСЬ В АКАДЕМИЮ,** – сказал Оуэн.

– Как это не собираешься?! – опешила мама. – Ты лучший ученик во всем Нью-Гэмпшире, а может, и во всей стране!

– **АКАДЕМИИ – НЕ ДЛЯ ТАКИХ, КАК Я,** – ответил Оуэн. – **ДЛЯ ТАКИХ, КАК Я, ЕСТЬ ОБЫЧНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ.**

Мне подумалось сначала, что он имеет в виду – *для таких маленьких, как я*, иными словами, что для малорослых людей предназначены муниципальные школы. Но мама гораздо быстрее меня сообразила, что он хотел сказать:

– Ты получишь полную стипендию, Оуэн. Надеюсь, твои родители знают об этом. Ты будешь учиться в Академии совершенно бесплатно.

– **ТАМ НУЖНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОСИТЬ ФОРМЕННЫЙ ПИДЖАК И ГАЛСТУК,** – сказал Оуэн. – **НА ПИДЖАКИ И ГАЛСТУКИ НЕ ХВАТИТ НИКАКОЙ СТИПЕНДИИ.**

– Все это можно устроить, Оуэн, – возразила мама, и я понял это так, что устраивать собирается она сама: если этого не сделает никто другой, она купит ему любые пиджаки и галстуки, какие только потребуются.

– **НУЖНЫ ЕЩЕ ВСЯКИЕ ТАМ ПАРАДНЫЕ РУБАШКИ И ТУФЛИ,** – продолжал Оуэн. – **КОГДА ХОДИШЬ В ШКОЛУ С БОГАТЫМИ ДЕТЬМИ, НЕ ОЧЕНЬ-ТО ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ПОХОЖИМ НА ИХ ПРИСЛУГУ.**

Мне сейчас кажется, что тогда мама расслышала в этом замечании колючую пролетарскую интонацию мистера Мини.

– Все, что нужно, Оуэн, – сказала мама, – все будет улажено.

Мы въехали в Рай и как раз проезжали мимо первоапостольной церкви, и бриз с океана уже дул довольно сильно. Какой-то мужчина вез в тачке грудку кровельных реек, с трудом удерживая их, чтобы не сдуло ветром; лестница, приставленная к крыше ризницы, тоже готова была вот-вот упасть. Мужчине явно требовался помощник – или, на худой конец, еще одна пара рук.

– **НАДО БЫ ОСТАНОВИТЬСЯ И ПОМОЧЬ ЕМУ,** – предложил Оуэн, но мама так увлеклась, что ничего необычного за окном не заметила.

– Может, мне стоит поговорить об этом с твоими родителями, а, Оуэн?

– **ВОПРОС ЕЩЕ В ТОМ, КАК ДОБИРАТЬСЯ НА УЧЕБУ,** – сказал Оуэн. – **В ШКОЛУ МОЖНО ЕЗДИТЬ НА АВТОБУСЕ. Я ЖИВУ ЗА ГОРОДОМ, ВЫ ВЕДЬ ЗНАЕТЕ. И КАК Я БУДУ ДОБИРАТЬСЯ ДО АКАДЕМИИ? Я ИМЕЮ В ВИДУ, ЕСЛИ Я НЕ БУДУ ЖИТЬ В ОБЩЕЖИТИИ – КАК Я БУДУ ТУДА ДОБИРАТЬСЯ? И НА ЧЕМ Я БУДУ ВОЗВРА-**

ЩАТЬСЯ ДОМОЙ? РОДИТЕЛИ ВЕДЬ НИ ЗА ЧТО НЕ РАЗРЕШАТ МНЕ ЖИТЬ В ОБЩЕЖИТИИ. ИМ НУЖНО, ЧТОБЫ Я БЫЛ ДОМА. ДА И ВООБЩЕ, В ОБЩЕЖИТИИ ЖИТЬ ВРЕДНО. КАК УЧЕНИКИ ДНЕМ ДОБИРАЮТСЯ ДО ШКОЛЫ И ПОТОМ ДО ДОМА? – спросил он.

– Кто-нибудь возит их на машине, – ответила мама. – Я бы могла подвозить тебя, Оуэн, – по крайней мере, пока ты сам не получишь водительские права.

– НЕТ, НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ, – возразил Оуэн. – МОЙ ОТЕЦ СЛИШКОМ ЗАНЯТ. А МАМА НЕ ВОДИТ МАШИНУ.

Миссис Мини не только не водила машину – и мы с мамой это прекрасно знали, – она вообще не выходила из дому. Даже летом окна их дома оставались наглухо закрытыми: Оуэн как-то объяснил, что у его матери аллергия на пыль. В любое время года миссис Мини сидела в доме за мутными оконными стеклами, исцарапанными мелкими песчинками из карьера. Она надевала на голову старые летные наушники с оборванными проводами, так как не переносила грохота врубной машины и визга резцов, вгрызающихся в скалу. В те дни, когда в карьере устраивали взрывы, она на всю громкость включала проигрыватель, и тогда из их дома доносились звуки джаза. Временами – когда взрыв бывал особенно мощным или динамит закладывали совсем близко от дома – игла проигрывателя перескакивала на несколько дорожек вперед.

В магазины за покупками ездил мистер Мини. Он подвозил Оуэна в воскресную школу, а после занятий забирал его – хотя сам на службе в епископальной церкви не присутствовал. Очевидно, для мести католикам было достаточно отправлять туда Оуэна; а сам мистер Мини либо просто не нуждался в том, чтобы своим личным посещением службы еще больше уязвить католические власти, либо оскорбление, нанесенное ему, оказалось столь болезненным, что он стал глух к учению *всякой* церкви.

Моя мама знала, что он столь же непрошибаем в отношении Грейвсендской академии. «Сперва интересы города, – сказал он как-то на заседании городского совета, – а уж потом – *ихние* интересы!» Разговор шел о прошении руководителей Академии расширить русло нашей реки и углубить фарватер Скуамскотта, чтобы улучшить гребную трассу для команды Академии: дело в том, что лодки уже несколько раз застревали в болоте во время отлива. Участок берега, за счет которого предполагалось расширить русло, представлял собой затопляемый приливами болотистый мыс, непосредственно граничащий с карьером Мини. Это была совершенно непригодная земля, однако ею владел мистер Мини, и его возмущало, что Академия хочет оттяпать ее – «просто ради забавы!» – как сказал он.

– Мы ведь говорим о болоте, а не о граните, – заметил представитель Академии.

– А я толкую об нас и об *них*! – в сердцах крикнул мистер Мини, и это заседание вошло в историю.

Чтобы заседание городского совета Грейвсенда вошло в историю, достаточно хорошей свары. Скуамскотт расширили, канал прорыли. Город решил, что если там просто грязь, то не важно, кому она принадлежит.

– Ты будешь учиться в Академии, Оуэн, – настаивала мама. – И никаких разговоров. Если кому и место в приличной школе – так это тебе. Да ведь эту Академию и создавали-то для таких, как ты, – а для кого же еще?

– МЫ УПУСТИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО, – угрюмо сказал Оуэн. – ТОТ МУЖЧИНА, ЧТО ЧИНИЛ ЦЕРКОВНУЮ КРЫШУ, – ЕМУ НУЖНО БЫЛО ПОМОЧЬ.

– Не спорь со мной, Оуэн, – не унималась мама. – Ты будешь учиться в Академии, пусть мне для этого придется усыновить тебя. Я *украду* тебя, если потребуется!

Но такого упрямыча, как Оуэн, еще свет не видывал. Мы проехали целую милю, прежде чем он отозвался. Он сказал: «НЕТ, НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ».

Грейвсендскую академию основал в 1781 году преподобный Эмери Херд, первый последователь первого в Америке Уилрайта и его незаурядных убеждений. Херд был бездетным пуританином, обладавшим, по словам Уолла, «ораторским даром, способным убеждать в преимуществах Учености и ее благом свойстве воспитывать в людях Добродетель и Благочестие». Интересно, как преподобный мистер Херд отозвался бы об Оуэне Мини? Херд задумывал создать такую академию, из которой «молодой человек, уличенный в тлетворном влиянии на сверстников, подлежит исключению в течение часа»; академию, где каждый ученик «будет работать не покладая рук и в трудах этих усердно учиться».

Что касается денег, оставшихся у мистера Херда после этого, то он пустил их на «просвещение американских индейцев и обращение их в христианскую веру». На закате жизни преподобный мистер Херд, все время ревностно следивший, чтобы Грейвсендская академия служила своему благочестивому и богоугодному предназначению, прославился тем, что целыми днями прохаживался по Уотер-стрит в центре Грейвсенда, выискивая юных нарушителей, в частности молодых людей, что забывали снимать перед ним шляпу, и юных леди, что забывали приседать в реверансе. В ответ на подобный проступок Эмери Херд с радостью делился с этими молодыми людьми крупницами своей премудрости; под конец жизни от его премудрости и правда остались одни крупницы.

Мне пришлось наблюдать, как подобным же образом по крупницам утрачивает рассудок моя бабушка. Когда она была уже настолько стара, что не помнила почти ничего – даже меня, не говоря уже об Оуэне Мини, – она иногда вдруг раздражалась упреками в адрес всех, кто ее в этот момент окружал.

– Почему никто не снимает шляпу? – стенала и всхлипывала она. – Верните поклоны! Верните реверансы!

– Успокойся, бабушка, все вернется, – утешал я ее.

– Ах, да откуда тебе знать? – с досадой говорила она, а затем спрашивала: – Кто ты, кстати, такой?

– ЭТО ТВОЙ ВНУК, ДЖОННИ, – отвечал я, стараясь как можно точнее изобразить голос Оуэна Мини.

И тогда бабушка говорила:

– Бог ты мой, он все еще здесь? Он все еще здесь, этот чудной мальчишка? Ты что, закрыл его там в подвале, а, Джонни?

Спустя некоторое время, тем же летом, когда нам обоим было по десять лет, Оуэн сообщил, что моя мама приходила поговорить с его родителями.

– Ну и что они сказали? – спросил я его.

Оуэн ответил, что они вообще ни словом ему об этом не обмолвились, но он все равно знает, что она приходила.

– У НАС В ДОМЕ ПАХЛО ЕЕ ДУХАМИ, – пояснил он. – ОНА, ВЕРНО, ПРОБЫЛА ТАМ ДОЛГО, ПОТОМУ ЧТО ПАХЛО ПОЧТИ ТАК ЖЕ СИЛЬНО, КАК В ТВОЕМ ДОМЕ. МОЯ МАМА ВЕДЬ ВООБЩЕ НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ДУХАМИ, – добавил он.

Этого он мог мне и не говорить. Миссис Мини не только не выходила на улицу – она старалась даже *не смотреть* туда. Когда бы и у какого окна я ни видел ее, всякий раз это был профиль – она словно бы старательно избегала разглядывать мир и в то же время своей позой словно давала понять, что еще не окончательно от него отвернулась. Мне как-то пришло в голову, что она стала такой из-за католиков, – что бы они там ни сделали, это, несомненно, имело основания таинственно называться НЕВЫПРАЗЫМЫМ ОСКОРБЛЕНИЕМ, от которого, как уверял Оуэн, пострадали его отец и мать. Было в этом упрямом самозаточении миссис Мини что-то такое, что наводило на мысль если не о вечном проклятии, то уж о религиозном преследовании точно.

- Как там прошло у Мини? – спросил я маму.
- Они сказали Оуэну, что я там была? – удивилась она.
- Да нет, они-то не сказали. Просто он узнал твои духи.
- Ну еще бы, – улыбнулась мама.

По-моему, она знала, что Оуэн влюблен в нее, – да что там, все мои друзья были влюблены в нее. Если бы она дожила до того времени, когда они стали подростками, несомненно, их увлечение ею переросло бы в страсть, невыносимую и для них, и для меня.

Хотя мама и не поддавалась искушению, перед которым не могли устоять мои сверстники, – иными словами, удерживалась от того, чтобы брать Оуэна Мини на руки, – но она уступала желанию погладить его. К этому мальчишке руки тянулись сами собой. Оуэн был чертовски симпатичный – словно пушистый зверек, если не считать его голых, почти прозрачных ушей торчком, придававших его заостренной мордочке что-то крысиное. Бабушка говорила, что Оуэн напоминает ей новорожденного лисенка. Все, кто гладил Оуэна, обычно избегали прикасаться к его ушам, которые даже на вид казались холодными. Однако мама моя делала все наоборот: она даже растирала эти его мягкие податливые уши, словно пытаясь их согреть. Она прижимала Оуэна к себе, целовала его, терлась своим носом о его нос. Все это выходило у нее настолько естественно, как если бы она проделывала это со мной, однако больше ни с кем из моих друзей она себе этого не позволяла – даже с моими двоюродными братьями и сестрой. И надо сказать, Оуэн отвечал ей взаимной нежностью; иногда он отчаянно краснел, но всегда улыбался. Его почти все время насупленные брови вдруг разглаживались, а лицо застенчиво озарялось неким светом.

Отчетливее всего он запомнился мне в те моменты, когда стоял рядом с мамой: его лицо находилось как раз на уровне ее девичьей талии. Привстав на цыпочки, он мог коснуться своей макушкой ее груди. Когда она сидела на стуле и он подходил к ней, чтобы получить причитающиеся ему объятия и поцелуи, его лицо оказывалось точнехонько у ее груди. Мама была из тех полногрудых девушек, которым идет облегающая одежда: у нее была прекрасная фигура; она знала это и, чтобы еще больше подчеркнуть ее, носила обтягивающие свитера по тогдашней моде.

Насколько серьезен был Оуэн, можно судить хотя бы по тому, что мы могли обсуждать мам всех наших друзей, и при этом Оуэн совершенно откровенно оценивал достоинства моей мамы. Он мог не стесняясь выкладывать мне все, что думает, потому что я знал: он не шутит. Оуэн никогда не шутил.

- ИЗ ВСЕХ МАМ У ТВОЕЙ САМАЯ КРАСИВАЯ ГРУДЬ.

Скажи такое кто-нибудь другой из моих приятелей, я бы ему этого так просто не спустил.

- Ты серьезно? – спросил я его.
- АБСОЛЮТНО. САМАЯ КРАСИВАЯ, – подтвердил он.
- Как насчет миссис Виггин? – спросил я тогда.
- ВЕЛИКОВАТА, – сказал Оуэн.
- А у миссис Уэбстер? – продолжал я.
- СЛИШКОМ ПЛОСКАЯ, – ответил он.
- У миссис Меррил? – не унимался я.
- ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ, – ответил Оуэн.
- Мисс Джадкинс?
- НЕ ЗНАЮ, – сказал он. – Я НЕ ПОМНЮ, КАКАЯ У НЕЕ ГРУДЬ. НО ОНА ПОКА

ЕЩЕ НЕ МАМА.

- У мисс Фарнум? – не отставал я от него.
- ДА ТЫ ИЗДЕВАЕШЬСЯ, ЧТО ЛИ? – не выдержал Оуэн.
- А у Кэролайн Перкинс?

– КОГДА-НИБУДЬ, МОЖЕТ БЫТЬ, У НЕЕ БУДЕТ... – сказал он серьезно. – НО ОНА ВЕДЬ ТОЖЕ ПОКА НЕ МАМА.

– Айрин Бэбсон? – продолжал я.

– У МЕНЯ ВНУТРИ ОТ НЕЕ ЧТО-ТО ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ, – сказал Оуэн и, помолчав, добавил с тихим благоговением: – ТАКИХ, КАК ТВОЯ МАМА, БОЛЬШЕ НЕТ. К ТОМУ ЖЕ ОТ НЕЕ ПАХНЕТ ЛУЧШЕ ВСЕХ.

Тут я мог с ним полностью согласиться: от моей мамы всегда пахло чем-то неповторимо-замечательным.

Не каждый друг станет оценивать грудь вашей мамы, чтобы таким странным способом сделать вам приятное. Но ведь моя мама и вправду была признанной красавицей, а непосредственность Оуэна исключала малейший подвох. Ему можно было доверять – абсолютно.

Мама часто возила нас на машине. Она отвозила меня к карьеру, чтобы я поиграл с Оуэном; она забирала Оуэна и привозила к нам, а потом везла его домой. Гранитный карьер Мини находился милях в трех от центра города – в общем-то, не так уж далеко, можно и на велосипеде доехать, вот только дорога все время в гору. Так что мама часто отвозила меня туда на машине вместе с велосипедом, а потом я сам возвращался на нем домой. Или наоборот: Оуэн приезжал ко мне на велосипеде, а мама потом доставляла его домой вместе с велосипедом. В общем, она так часто была для нас за шофера, что, вполне возможно, привыкла воспринимать Оуэна как второго сына. А если учесть, как часто в маленьких городках мамам достается роль шофера, Оуэн имел основания воспринимать ее как родную маму в большей мере, чем собственную.

Мы с Оуэном редко заходили к нему в дом. Мы играли среди отвалов породы, в карьерах или у реки, а по воскресеньям залезали на выключенное оборудование, воображая, будто ведем разработку в карьере или боевые действия.

По-моему, Оуэну его дом представлялся таким же неудобным и чужим, как и мне. Когда на улице стояла ненастная погода, мы шли ко мне, а поскольку в Нью-Гэмпшире погода чаще бывает ненастной, то и играли мы чаще у меня.

Сегодня мне кажется, что мы только и делали, что играли. В то лето, когда не стало моей мамы, нам с Оуэном было одиннадцать лет. Мы играли свой последний сезон в Малой лиге, которая нам уже порядком надоела. Бейсбол, по-моему, вообще игра довольно скучная, и последний сезон в Малой лиге – это лишь прелюдия ко всей той скуке, что ждет многих американцев во взрослом бейсболе. Канадцы, к сожалению, тоже играют в бейсбол и смотрят его. Это игра, где больше ожидания, чем действия; причем ожидание все нарастает, а действие сходит на нет. В Малой лиге, слава богу, хоть играют побыстрее, чем во взрослой. Мы, по крайней мере, не тянули время, театрально сплевывая и похлопывая себя по бокам или по ляжкам, чтобы изобразить нервозность – без чего во взрослом спорте, похоже, просто не обойтись. Но все равно приходится ждать в промежутках между бросками питчера, ждать, пока кэтчер с судьей сойдутся во мнении насчет очередной подачи, ждать, пока кэтчер рысцой подбежит к питчеру и подскажет ему, как бросать следующий мяч, ждать, пока тренер вразвалку выйдет на поле и озабоченно обсудит с питчером и кэтчером тактические тонкости следующей подачи...

В тот день шел уже последний иннинг, и мы с Оуэном просто ждали, когда эта игра наконец закончится. Нам уже все наскучило до предела, никому и в голову не могло прийти, что с окончанием игры должна закончиться и чья-то жизнь. Мы проигрывали безнадежно. Игру спасти было уже нельзя, и наши запасные так часто и беспорядочно сменяли игроков первого состава, что я просто запутался, кто за кем бьет, – мало того, я уже не знал, когда очередь брать биту мне самому. Я уже собирался спросить об этом нашего славного менеджера и тренера, толстого мистера Чикеринга, как тот вдруг повернулся к Оуэну Мини и сказал:

– Оуэн, будешь бить вместо Джонни!

– Но я не знаю, когда моя очередь бить, – сказал я мистеру Чикерингу, однако он меня не услышал.

Он смотрел куда-то в сторону от игрового поля. Ему тоже уже надоела эта игра, и, как и все мы, он просто ждал, когда все закончится.

– Я ЗНАЮ, КОГДА ТЕБЕ БИТЬ, – сказал Оуэн.

Что меня вечно в нем раздражало – он всегда все знал. Сам в этой идиотской игре почти не участвует – но следит за каждой мелочью.

– ЕСЛИ ПРОХОДИТ ГАРРИ, ТОГДА БЬЕТ БАЗЗИ, А Я СЛЕДУЮЩИЙ НА ОЧЕРЕДИ, – сказал Оуэн. – ЕСЛИ ПРОХОДИТ БАЗЗИ, Я БЬЮ.

– Можешь не надеяться, – сказал я. – Или у нас еще только один аут?

– ДВА АУТА, – отозвался Оуэн.

Тем временем вся наша скамейка запасных смотрела куда-то в сторону – даже Оуэн, – и мне наконец стало интересно, что могло так привлечь их внимание. Я обернулся и увидел: это была моя мама. Она только что приехала. Она всегда приезжала под конец, потому как ей тоже было скучно смотреть всю игру. Каким-то шестым чувством она всегда угадывала, когда нужно приехать, чтобы забрать нас с Оуэном домой. Летом вместо свитера ее фигуру облегал легкий трикотаж. У нее тогда был красивый золотистый загар, который оттенялся белым хлопчатобумажным платьем, обтягивающим грудь и талию, но с широкой юбкой. Волосы, высоко подобранные и перехваченные легким красным шарфом, не закрывали красивых обнаженных плеч. Она не следила за игрой, а стояла у левой боковой линии, за третьей базой, и всматривалась в полупустые открытые трибуны, стараясь, наверное, разглядеть, нет ли там кого-нибудь из знакомых.

Я понял, что все кругом смотрят на нее. Вообще-то я не находил тут ничего особенного. На маму вечно все заглядывались, но в тот день всеобщее внимание казалось особенно напряженным, – а может, мне это запомнилось так остро, потому что тогда я видел ее живой в последний раз. Питчер смотрел на плиту домашней базы, кэтчер ждал броска; бэттер, я думаю, тоже ждал броска, но даже полевые игроки, все как один, повернули головы в сторону моей мамы и пялились на нее. И все, кто сидел на нашей скамейке, тоже не могли оторвать от нее глаз – особенно мистер Чикеринг, да и Оуэн тоже. Пожалуй, я среди всех оставался самым равнодушным. Мама оглядывала трибуну, а вся трибуна не отрываясь глазела на нее.

Судья зафиксировал четвертый бол: питчер, верно, тоже отвлекся и краем глаза поглядывал на мою маму. Гарри Хойт перешел на первую базу. Баззи Тэрстон приготовился бить, следующим на очереди шел Оуэн. Он встал со скамейки и начал выбирать самую маленькую битую. Баззи слабо отбил мяч, и тот покатился по земле – это был верный аут, и мама так ни разу и не повернула головы в сторону поля. Она медленно двинулась вдоль левой боковой линии, прошла мимо игроков у третьей базы, продолжая оглядывать трибуны; тем временем шорт-стоп прошляпил мяч Баззи Тэрстона, и, пока он его догонял, все раннеры спокойно успели добежать до баз.

Оуэн занял свое место на площадке бэттера.

О том, насколько всем надоел этот матч – и насколько безнадежно он уже был проигран, – можно понять хотя бы из того, что мистер Чикеринг разрешил Оуэну отбивать. Видно, мистер Чикеринг тоже хотел поскорее уйти домой.

Обычно он говорил: «Смотри в оба, Оуэн!» Это означало: «Стой спокойно, и заработаешь переход на базу». Это означало: «Не снимай битую с плеча». Это означало: «*Ни в коем случае* не вздумай замахиваться».

Но на этот раз мистер Чикеринг сказал:

– Отбивай, малыш!

– Расколи этот мяч надвое, Мини! – крикнул кто-то со скамейки и покатился со смеху, довольный собственной шуткой.

Оуэн с достоинством смотрел на питчера.

– Врежь как следует, Оуэн! – крикнул я.

– Отбивай, Оуэн! – повторил мистер Чикеринг. – Отбивай!

На нашей скамейке уже смирились с поражением: всем было пора домой. Пусть Оуэн попробует отбить, промажет три раза – и все свободны. Вдобавок ко всему мы не прочь были повеселиться, наблюдая за его потешными попытками размахнуться неподъемной битой.

Первый бросок питчера ушел далеко в сторону, и Оуэн дал мячу спокойно пролететь мимо.

– Ну что ж ты? – снова крикнул мистер Чикеринг. – Отбивай же!

– БЫЛО СЛИШКОМ ДАЛЕКО! – отозвался Оуэн.

Он всегда все делал строго по правилам, Оуэн Мини, – следуя каждой букве.

Следующий мяч едва не угодил Оуэну в голову, так что ему пришлось падать вперед на утопанную землю, окружавшую плиту домашней базы, лицом прямо в траву. Второй бол. Отряхивая форму, Оуэн поднял вокруг себя облако пыли, что вызвало новый взрыв хохота на скамейке. Теперь все ждали, пока он приведет себя в порядок.

Мама в это время стояла спиной к третьей базе; она наконец разглядела на открытой трибуне кого-то из знакомых и замахала рукой. Она уже прошла мимо холщовой подушки третьей базы и стояла прямо на линии, но все же ближе к третьей базе, чем к домашней, – и в этот самый момент Оуэн начал отбивать. Всем показалось, что его бита начала движение за мгновение до того, как мяч расстался с рукой питчера, – тот постарался бросить его сильно и без всяких ухищрений, что вообще типично для игр Малой лиги, – но Оуэн уже успел размахнуться как следует, и потому удар вышел чудовищной силы. Оуэн принял мяч в самой удобной точке – немного впереди себя, на уровне груди. Никто не мог представить, что он способен ударить так мощно, – впрочем, его самого это, кажется, настолько потрясло, что он впервые на моей памяти сумел после подачи устоять на ногах.

Треск от удара биты по мячу оказался небывало резким и громким для Малой лиги, так что этот звук привлек даже рассеянное внимание моей мамы. Она повернула голову к домашней плите – ей, верно, стало интересно, кто это так мастерски «выстрелил», – и в это самое мгновение мяч угодил ей точно в левый висок, сбив ее с ног так стремительно, что, сломав каблук, мама упала лицом к трибунам, разведя колени и не успев даже выставить вперед руки, чтобы хоть немного смягчить падение. Позже поговаривали, будто она умерла еще до того, как коснулась земли.

Насчет этого ничего определенного сказать не могу; но то, что она была мертва, когда к ней подбежал мистер Чикеринг – а он подбежал к ней первым, – это факт. Он приподнял ей голову, потом повернул слегка поудобнее; кто-то потом сказал, что он закрыл ей глаза, прежде чем снова опустить ее голову на землю. Я помню, как он поправил ей юбку – она задралась до середины бедер – и сложил вместе колени. Затем встал, снял свою спортивную куртку и поднял ее перед собой, словно тореадор. Я первым из всех игроков домчался до третьей базы, но мистер Чикеринг при всей своей тучности оказался на удивление проворным. Он успел перехватить меня и накинуть куртку мне на голову, чтобы я ничего не мог видеть. Сопротивляться было бесполезно.

– Нет, Джонни, не надо! – сказал мистер Чикеринг. – Не надо тебе туда смотреть.

Память творит чудовищные вещи: *вы* можете что-то забыть, но *она* – нет. Она просто регистрирует события. И хранит их для вас – что-то открыто, а что-то прячет до поры до времени, – а потом возвращает, когда ей вздумается. Вы думаете, это вы обладаете памятью, а на самом деле это *она* обладает вами.

Позже я вспомню все. Сейчас, вызывая в памяти картину смерти моей мамы, я могу вспомнить всех, кто в тот день был на трибунах; помню я и тех, кого там не было. Помню, кто мне что говорил и чего не говорил. Но, вспоминая эту сцену в первый раз, я сумел восстано-

вить очень мало подробностей. Я помню инспектора Пайка, нашего главного грейвсендского полицейского, – много лет спустя я буду встречаться с его дочкой. А тогда инспектор Пайк привлек мое внимание только тем, что задал ужасно нелепый вопрос, – и еще абсурднее было то, как он пытался добиться ответа на него.

– Где мяч? – спросил инспектор, когда, выражаясь полицейским языком, место происшествия было очищено.

Маму уже унесли, а я сидел на коленях у мистера Чикеринга, и его спортивная куртка по-прежнему покрывала мою голову – но теперь уже потому, что это я так хотел; я сам накрылся ею.

– Мяч? – недоуменно переспросил мистер Чикеринг. – Тебе нужен этот паршивый мяч?!

– Ну, ведь это, как ни крути, орудие убийства, – пояснил инспектор Пайк, которого звали Беном. – Непосредственная причина смерти, если можно так выразиться, – добавил он.

– Орудие убийства! – воскликнул мистер Чикеринг и больно стиснул меня; мы сидели и ждали, пока за мной приедет бабушка или мамин муж. – Причина смерти! – повторил он. – Господи, Бен, ты в своем уме – это же *бейсбольный мяч*!

– Ну да, верно. И где же он? – спросил инспектор Пайк. – Если этим мячом кого-то убило, мне положено взглянуть на него. Вернее даже сказать, я должен забрать его с собой.

– Да не будь ты мудаком, Бен! – не выдержал мистер Чикеринг.

– Его забрал кто-то из твоих ребят? – не отступался инспектор.

– Чего ты ко мне пристал? Вот их и спрашивай! – огрызнулся наш толстяк-тренер.

Когда полицейские фотографировали мамино тело, всех игроков заставили уйти за трибуну. Они до сих пор толпились там, угрюмо уставившись поверх пустых скамеек на роковую площадку. В толпе среди ребят стояло несколько взрослых – чьи-то мамы и папы, страстные поклонники бейсбола. Позже я вспомню, как услышал в темноте голос Оуэна – в темноте потому, что голова моя была все еще покрыта спортивной курткой нашего менеджера:

– ПРОСТИ, Я НЕ ХОТЕЛ!

Спустя годы все эти мелкие подробности вернутся ко мне – я вспомню всех, кто стоял там, за трибуной, равно как и всех, кто сразу ушел домой.

Но тогда я просто стянул с головы куртку, и все, что я понял в тот момент, – Оуэна Мини *нет* среди стоящих за трибуной. Мистер Чикеринг, должно быть, подумал о том же.

– Оуэн! – позвал он.

– Он ушел домой! – отозвался чей-то голос.

– У него был велосипед! – добавил кто-то другой.

Я легко мог представить себе, как Оуэн с трудом взбирается на своем велосипеде вверх по Мейден-Хилл-роуд – поначалу крутит педали сидя в седле, потом постепенно выбивается из сил, привстает и еще немного продвигается вперед судорожными рывками, раскачивая велосипед из стороны в сторону. В конце концов ему приходится слезть и вести велосипед рядом с собой. Где-то там, вдалеке, виднеется река. В то время бейсбольные формы делались из колючей шерсти, и мне живо представлялся отяжелевший от пота свитер Оуэна с огромной цифрой «3» на спине – такой огромной, что, когда он заправлял свитер в штаны, оставалась видна только половина цифры и все, кто встречал его на Мейден-Хилл-роуд, конечно же, решали, что это двойка.

Понятное дело, ему незачем было оставаться на стадионе. Раньше после матча его вместе с велосипедом отвозила домой моя мама.

Мяч, конечно, забрал Оуэн, подумал я. Он ведь коллекционер, одни его бейсбольные карточки чего стоят. «В конце концов, – сказал как-то спустя годы мистер Чикеринг, – это был единственный раз, когда он сумел прилично ударить. Единственный раз, можно сказать, приложился по-настоящему. И надо же – все равно промазал. Не говоря уж о том, что человека убил».

Ну и что, если это и вправду Оуэн забрал мяч? – думал я. Хотя, признаться, в тот момент мои мысли больше занимала мама. Уже тогда я начал злиться на нее за то, что она так и не открыла мне, кто мой отец.

В то время мне было всего одиннадцать; я понятия не имел, кто еще мог видеть нашу игру и стать свидетелем этой смерти – и у кого могли быть свои причины забрать мяч, по которому ударил Оуэн Мини.

2

Броненосец

Мамино полное имя было Табита, хотя ее никто, кроме бабушки, так не звал. Бабушка терпеть не могла уменьшительных имен, за одним, правда, исключением: меня она никогда не называла Джоном – для нее я всегда оставался Джонни, даже когда для всех уже давно стал Джоном. Мама же моя для всех остальных была Табби. Я помню только один случай, когда преподобный Льюис Меррил назвал ее «Табита», но сказано это было в присутствии бабушки; к тому же у них тогда вышло что-то вроде ссоры или, по крайней мере, спора. Предметом этого спора было мамино решение перейти из конгрегационалистской церкви в епископальную, и преподобный мистер Меррил – обращаясь к бабушке так, будто мамы в этот момент не было рядом, – сказал: «Табита Уилрайт – это единственный поистине ангельский голос в нашем хоре, и, если она покинет нас, хор лишится души». Должен добавить в его оправдание, что он отнюдь не всегда выражался так по-византийски витиевато, но наш с мамой уход и вправду довольно сильно взволновал пастора, так что вполне понятно, почему он вещал будто с кафедры.

В Нью-Гэмпшире во времена моего детства этим именем – Табби – часто звали домашних кошек; и в маме, без сомнения, было что-то кошачье; не коварство и не скрытность, конечно, – но другие кошачьи качества в ней присутствовали совершенно явно: она была такой же чисто-плотной, грациозной и уравновешенной, ее так же хотелось погладить. Как и Оуэн Мини, моя мама всегда вызывала желание прикоснуться к ней – только, конечно, по-другому, и не только у мужчин, хотя я, даже ребенком, отчетливо видел, как им трудно в ее обществе держать руки при себе. В общем, прикоснуться к ней хотелось *абсолютно всем*, и в зависимости от отношения к тому, кто хотел ее потрогать, мама тоже вела себя совершенно по-кошачьи. Могла напустить на себя такое ледяное равнодушие, что рука сама отдергивалась; обладая великолепной координацией, она легко, как кошка, уклонялась от непрошеной ласки – ухитрялась нырнуть под руку или отпрянуть так стремительно и инстинктивно, что другой успел бы только вздрогнуть. Но умела она отвечать и совсем иначе – как реагирует кошка на желанную ласку: упиваться прикосновением, могла бесстыдно изогнуться всем телом и еще сильнее прижаться к ласкающей ее руке, – я прямо ждал, что вот-вот раздастся еле слышное «мрррррр...».

Оуэн Мини редко тратил слова попусту, предпочитая уронить какое-нибудь веское замечание, словно монету в омут, – замечание, что, подобно истине, тяжело ложилось на самое дно, чтобы пребывать в недостижимости, – так вот, Оуэн Мини мне как-то сказал: «ТВОЯ МАМА ТАКАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ, ЧТО Я ВСЕ ВРЕМЯ ЗАБЫВАЮ, ЧТО ОНА ЧЬЯ-ТО МАМА».

Что касается домыслов тети Марты, которыми она поделилась с моими двоюродными братьями и сестрой, теми, что лет десять спустя дошли до моих ушей, – насчет того, что моя мама была «дуреха», – я уверен, это все из-за непонимания, присущего завистливым старшим сестрам. Тетя Марта не сумела разглядеть в моей маме самое главное – то, что она существовала как бы в чужом обличье. Внешне Табби Уилрайт напоминала молоденькую киноактрису – привлекательную, экзальтированную, легко внушаемую. Казалось, она очень хочет всем понравиться; в общем, «дуреха», по определению тети Марты; к тому же мама выглядела *доступной*. Но я твердо убежден, что мама по натуре была совершенно не такой, какой казалась. Уж я-то знаю: она была почти безупречной матерью; мой единственный упрек к ней – она умерла, не сказав, кто мой отец. И кроме того, могу добавить: она была счастливой женщиной, а по-настоящему счастливая женщина способна свести с ума многих мужчин – и уж точно каждую вторую женщину. И если тело ее не знало покоя, то душа оставалась спокойной и безмятежной. Мама была всем довольна – и в этом тоже есть что-то кошачье. Казалось, ей от жизни ничего не нужно, кроме ребенка и любящего мужчины, причем именно в единственном числе: ей не

хотелось детей, ей нужен был я, только я один – и я у нее был; ей не надо было многих мужчин, ей нужен был один, тот самый, – и незадолго до смерти она его нашла.

Я назвал тетю Марту «милой женщиной» и готов это повторить: она душевная, привлекательная, порядочная и достойная – и она всегда с любовью относится ко мне. Она и маму мою любила, просто никогда не понимала ее; а когда к непониманию примешивается хоть капля ревности – ничего хорошего не жди.

Я уже говорил, что мама носила одежду в обтяжку – притом что вообще одевалась очень сдержанно; да, она любила подчеркивать грудь, но никогда не обнажала тело, за исключением крепких, почти девичьих плеч. Плечи мама оголяла с удовольствием. А вот чтобы она когда-нибудь оделась неряшливо, пестро или вызывающе – такого я не помню. Она была настолько консервативной в выборе расцветок, что почти весь ее гардероб состоял из белых или черных вещей, за исключением некоторых аксессуаров: она питала слабость к красному, и потому почти все ее шарфики, шляпки, туфельки и перчатки были в красных тонах. Она никогда не обтягивала бедра, но свою тонкую талию и красивую грудь показать любила. У нее ИЗ ВСЕХ МАМ и вправду была САМАЯ КРАСИВАЯ ГРУДЬ, как справедливо заметил Оуэн.

Я не думаю, что она флиртowała. По-моему, она открыто не заигрывала с мужчинами, хотя, если подумать, много ли я понимал в одиннадцать лет? Так что, может быть, она и флиртowała – но самую малость. Мне казалось, что она приберегает свое кокетство исключительно для бостонского поезда, а в любой другой точке пространства – даже в самом Бостоне, в этом жутком городе, – моя мама целиком и полностью принадлежит мне, но вот в поезде она, наверное, поглядывает на мужчин. Чем еще можно объяснить, что именно там она встретила мужчину, который стал моим отцом? А через шесть лет в том же поезде встретила другого мужчину, который потом женился на ней! Может быть, думал я, размеренный стук колес как-то расслабляет ее и заставляет совершать странные поступки? Может, в пути, не чувствуя опоры под ногами, она меняется?

Этими своими нелепыми страхами я поделился только один раз – с Оуэном. И его это потрясло.

– КАК ТЫ МОЖЕШЬ ДУМАТЬ ТАКОЕ О РОДНОЙ МАТЕРИ? – спросил он.

– Но ты же сам говорил, что она сексуальная. Сам ведь сказал, что с ума сходишь от ее груди, – напомнил я ему.

– Я НЕ СХОЖУ С УМА, – возразил он.

– Ну ладно, я имел в виду, она тебе нравится, – поправился я. – Она ведь нравится мужчинам, разве нет?

– ЗАБУДЬ ПРО ЭТОТ ПОЕЗД, – сказал Оуэн. – ТВОЯ МАМА – ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА. И С НЕЙ В ПОЕЗДЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.

Ну так вот, хотя она и говорила, что «встретила» моего отца в бостонском поезде, я никогда не мог представить, что там же произошло и мое зачатие. А вот то, что она встретила в этом же поезде мужчину, за которого потом вышла замуж, – это точно. Эта история не была ни выдумкой, ни секретом. Сколько раз я просил ее рассказать мне об этом! И она никогда не уклонялась, всегда делала это с готовностью – и рассказывала каждый раз одно и то же. А сколько раз после ее смерти я просил рассказать мне эту историю уже его – и он тоже делал это с готовностью, но рассказывал все слово в слово, как она. Каждый раз.

Его зовут Дэн Нидэм. Сколько раз я молил Бога, чтобы именно Дэн оказался моим настоящим отцом!

В один из весенних вечеров 1948 года, в четверг, мама, бабушка и я – и еще Лидия, только уже без ноги, – обедали в нашем старом доме на Центральной улице. Четверг был тем днем, когда мама возвращалась из Бостона, и по этому случаю обед подавался более изысканный, чем в другие вечера. Дело было вскоре после того, как Лидии ампутировали ногу, – я это помню

потому, что мне еще казалось немного странным увидеть ее за общим столом, – а подавали две новые горничные – они выполняли ту же работу, что и совсем недавно – сама Лидия. К своей инвалидной коляске она тогда еще не привыкла и не разрешала мне возить себя по дому – это позволялось только бабушке с мамой да еще одной из новых горничных. Я сейчас уже не припомню всех правил транспортировки Лидии по дому в коляске, да это и не важно. Суть в том, что мы как раз заканчивали обедать, и присутствие Лидии за нашим столом пока еще бросалось в глаза – все равно как свежая краска на стене.

И вот мама говорит:

– А я встретила другого мужчину в нашем старом добром поезде «Бостон – Мэн».

Думаю, мама произнесла это без всякого злого умысла, но ее реплика мгновенно повергла и бабушку, и Лидию, и меня в крайнее изумление. Лидия вместе со своим креслом отъехала назад, дернув скатерть, так что все тарелки, стаканы и приборы подпрыгнули на месте, а подсвечники угрожающе закачались. Бабушка схватилась за большую брошь на шее, будто вдруг подавилась ею, а я так сильно прикусил нижнюю губу, что почувствовал привкус крови.

Мы все подумали, что мама просто так иносказательно выражается. Я, понятное дело, не присутствовал при том, как она объявила о первом мужчине, которого повстречала в поезде. Может быть, она сказала так: «Я встретила мужчину в нашем старом добром поезде „Бостон – Мэн“ – и вот теперь я беременна!» А может, так: «Я жду ребенка, потому что в нашем старом добром поезде „Бостон – Мэн“ согрешила с совершенно незнакомым мужчиной, которого вряд ли когда-нибудь еще увижу!»

Как бы то ни было, пусть я не могу дословно воспроизвести ее первое заявление, но второе вышло вполне впечатляющим. Ни один из нас ни на секунду не усомнился: она хочет сказать, что снова беременна – только теперь уже от *другого* мужчины!

И словно в подтверждение того, как глубоко неправа была тетя Марта, считавшая маму «дурехой», мама тут же поняла, о чем мы все подумали, рассмеялась и сказала:

– Нет-нет, я не жду ребенка. Зачем мне – у меня уже есть ребенок. Я просто хотела сказать, что встретила мужчину и он мне понравился.

– *Другого* мужчину, Табита? – спросила бабушка, все еще держась обеими руками за брошь.

– О господи, конечно, *не того*, что за глупости! – сказала мама и снова рассмеялась, после чего Лидия чуть-чуть придвинулась к столу, хотя и очень осторожно.

– Ты сказала, он тебе *понравился*, Табита? – спросила бабушка.

– Я бы не стала вам об этом говорить, если бы он мне не понравился, – ответила мама и добавила, обращаясь ко всем: – Я хочу его с вами познакомить.

– Ты назначила ему свидание? – снова спросила бабушка.

– Да нет же! Я только сегодня познакомилась с ним, в сегодняшнем поезде!

– И он тебе уже нравится? – спросила Лидия голосом, так разительно похожим на бабушкин, что я непроизвольно поднял глаза, чтобы посмотреть, кто из них это произнес.

– Ну да, – серьезно ответила мама. – Вы же знаете, как это бывает. Для этого не нужно много времени.

– Да? Ну и сколько же раз у тебя так бывало? – спросила бабушка.

– Честно говоря, сегодня в первый раз, – сказала мама. – Потому-то я и знаю.

Лидия с бабушкой машинально посмотрели в мою сторону, возможно, хотели убедиться, правильно ли я понял свою маму, что в тот, первый раз, когда она «согрешила», в результате чего я появился на свет, она не испытывала никаких особо теплых чувств к моему отцу, кем бы он ни был. Но мне пришло в голову совсем другое. Я подумал: может, это и есть мой отец? Может, это тот самый человек, которого она встретила тогда, в первый раз, и он узнал обо мне, и ему стало интересно, и он захотел меня увидеть? И что-то очень важное мешало ему с нами встретиться все эти шесть лет? В конце концов, я ведь родился в 1942 году, а тогда шла война.

И, будто снова подтверждая неправоту тети Марты, мама, кажется, тут же поняла, о чем я размышляю, потому что сразу же поспешила сказать мне:

– Пожалуйста, Джонни, я бы хотела, чтоб ты понял раз и навсегда: этот мужчина не имеет ровным счетом никакого отношения к тому человеку, который был твоим отцом. Этого мужчину я сегодня встретила впервые, и он мне понравился, только и всего. Он просто нравится мне, и надеюсь, тебе он тоже понравится.

– Ладно, – сказал я, но почему-то не смог взглянуть ей в глаза; я помню, как постоянно переводил взгляд с рук Лидии, вцепившихся в подлокотники коляски, на бабушкины, теребившие брошку.

– А чем он занимается, Табита? – спросила бабушка.

Это вопрос совершенно в духе Уилрайтов. Моя бабушка считала, что по роду занятий можно судить о происхождении человека – причем желательно, чтобы оно вело в Англию, в идеале – в семнадцатый век. И потому весьма ограниченный перечень занятий, которые бабушка могла удостоить своим одобрением, был столь же своеобразен, как Англия семнадцатого века.

– Драматургией, – ответила мама. – Он в некотором роде актер, но не совсем.

– Безработный актер? – уточнила бабушка. (Я думаю, актер, имеющий работу, уж точно ее не устроил бы.)

– Нет, актерской работы он не ищет, он актер-любитель, – сказала мама. Я тут же подумал о людях на привокзальных площадях, которые разыгрывают кукольные представления – я имел в виду уличных артистов, но в шесть лет у меня был еще довольно ограниченный словарный запас, и я не знал, как это называется. – Он преподает актерское мастерство и ставит пьесы.

– Он режиссер? – спросила бабушка с оттенком надежды в голосе.

– Не совсем, – ответила мама, и бабушка снова нахмурилась. – Он ехал в Грейвсенд на собеседование.

– Сомневаюсь, что ему тут удастся устроить театр, – заметила бабушка.

– У него было назначено собеседование в Академии, – пояснила мама. – Насчет преподавательской работы. По истории театра, кажется. Кстати, мальчишки в Академии сами ставили несколько пьес. Помнишь, мы с Мартой даже ходили смотреть пару раз. Это так забавно – как они переодеваются в девчонок.

Из того, что я помню, это и вправду было самым смешным в их постановках. Я и понятия не имел, что ставить такие спектакли – это работа.

– Так он преподаватель? – снова спросила бабушка.

Это было на грани допустимого для Харриет Уилрайт, хотя бабушке хватало деловой искушенности понимать, что по части заработков преподаватель (даже в такой престижной подготовительной школе, как Грейвсендская академия) все-таки не вполне соответствует ее запросам.

– Да, – ответила мама устало. – Да, он преподаватель. Он преподавал сценическое мастерство в одной частной школе в Бостоне. А до этого учился в Гарварде, закончил его в сорок пятом.

– Боже милостивый! – воскликнула бабушка. – Так ведь с этого надо было начинать!

– Он не придает этому такого значения, – сказала мама.

Зато какое значение придавала этому бабушка! Ее неугомонные руки, беспрестанно теребившие брошку на шее, тут же успокоились и опустились на колени. Выдержав для приличия некоторую паузу, Лидия придвинулась в своей коляске еще ближе к столу, взяла в руку серебряный колокольчик и зазвонила, подавая знак горничным, что можно убирать со стола, – этим самым колокольчиком, кажется, еще вчера подзывали саму Лидию. Звук колокольчика помог нам всем стряхнуть только что пережитое оцепенение, но лишь на несколько секунд. Бабушка, оказывается, забыла спросить, как зовут молодого человека. Мы же, как-никак, Уилрайты, мы

не успокоимся, пока не узнаем фамилию человека, который может стать членом нашей семьи. Упаси боже, если он окажется каким-нибудь Коэном, Каламари или Мини! И бабушкины руки снова нервно затеребили брошку.

– Его зовут Дэниел Нидэм, – объявила мама.

Ф-фу, с каким облегчением бабушка опустила руки! Нидэм! Прекрасная старинная фамилия, напоминающая об отцах-основателях; фамилия, восходящая к временам Колонии Массачусетского залива, если не вообще напрямую к истории Грейвсенда. А Дэниелом ведь звали самого Дэниела Уэбстера! Да, что и говорить, такое имя Уилрайтам вполне подойдет.

– Но вообще-то ему больше нравится, когда его зовут Дэном, – добавила мама, чем заставила бабушку слегка нахмуриться.

Бабушка никогда не соглашалась Табиту переделать в Табби, и, если ей суждено будет общаться с Дэниелом, будьте спокойны, она не станет переделывать его в какого-то там Дэна. Однако Харриет Уилрайт была достаточно благоразумной, чтобы иногда – при *несущественных* разногласиях – промолчать.

– Так вы, значит, договорились встретиться? – спросила бабушка.

– Не совсем, – ответила мама. – Но я уверена, что еще увижу его.

– Так ты что, ни о чем с ним не договорилась? – недоуменно воскликнула бабушка. Подобная неопределенность ее жутко раздражала. – Но если ему не дадут работу в Академии, ты же можешь никогда больше его не увидеть!

– Я точно знаю, что еще увижу его, – повторила мама.

– Скажите пожалуйста, какая вы всезнайка, Табита Уилрайт! – фыркнула бабушка. – Не понимаю, почему нынешняя молодежь так боится обременять себя планами на будущее!

В ответ на эту тираду Лидия, как обычно, глубокомысленно кивнула – надо понимать, ее молчание объяснялось исключительно тем, что бабушка высказывала вслух ее, Лидии, мысли, только почему-то, как всегда, на мгновение раньше, чем это хотела сделать сама Лидия.

И в этот самый миг позвонили в дверь.

Лидия с бабушкой уставились на меня, будто только мои друзья могли оказаться настолько невоспитанными, чтобы в такое время заявиться в гости без приглашения.

– Господи, это еще кто? – спросила бабушка, и они с Лидией одновременно подчеркнуто долгим, глубокомысленным взглядом посмотрели каждая на свои часики, хотя еще не было и восьми: на дворе стоял благоухающий весенний вечер и небо еще не окончательно погасло.

– Могу поспорить, это он и есть! – воскликнула мама, поднявшись из-за стола и направляясь к двери.

Она мельком одобрительно оглядела себя в зеркале над буфетом, на котором остывало жаркое, и устремилась в прихожую.

– Так ты все-таки назначила ему свидание? – не унималась бабушка. – Ты пригласила его?

– Не совсем! – крикнула мама. – Но я сказала ему, где мы живем!

– У современной молодежи все «не совсем», как я погляжу, – заметила бабушка, обращаясь больше к Лидии, чем ко мне.

– Это уж точно, – поддакнула та.

Но мне надоело их слушать, я уже наслушался их достаточно за свою жизнь. Я поспешил вслед за мамой в прихожую, а за мной устремилась бабушка, подталкивая впереди себя Лидию в коляске. Любопытство, которое, как в те времена любили шутить в Нью-Гэмпшире, не одну кошку свело в могилу, взяло в нас верх над чувством приличия. Мы уже давно поняли, что мама еще долго не соберется приоткрыть завесу тайны над ее первой так называемой встречей в бостонском поезде, но уж второго-то ее знакомого мы сможем увидеть собственными глазами прямо сейчас. Дэн Нидэм стоял совсем рядом, на пороге дома номер 80 Центральной улицы города Грейвсенда.

Конечно, мама и раньше встречалась с молодыми людьми, но ни разу она не говорила, что хочет нас с кем-то из них познакомить, или даже что ей кто-то нравится, или что она точно знает, что еще увидится с ним. Итак, мы поняли с самого начала: Дэн Нидэм – нечто особенное.

Я думаю, тетя Марта звала сестру «дурехой» еще и потому, что маму привлекали парни моложе ее; но в этой своей склонности мама просто немного опередила эпоху – мужчины, к которым она ходила на свидания, и вправду часто бывали немного младше ее. Она даже встречалась несколько раз со старшеклассниками из Грейвсендской академии, притом что сама, если бы поступила в свое время в колледж, училась бы уже на последнем курсе. Но с ними она и вправду только «встречалась»: ведь это были парни из подготовительной школы, а ей было уже за двадцать, и на руках ребенок без отца, и все, что она позволяла себе, – это походы на танцы, в кино, в театр или на какие-нибудь спортивные соревнования.

Должен признать, я имел кое-какой опыт общения с некоторыми из этих болванов, и они никогда не знали, как себя со мной вести. Они, к примеру, не имели понятия, что такое шестилетний ребенок. Они дарили мне либо резиновых утят для ванны или еще какие-нибудь игрушки для грудных младенцев, либо «Словарь современного английского словоупотребления» Фаулера – самое увлекательное чтение в шесть лет, что и говорить. И когда они впервые видели меня, когда они сталкивались с живым, настоящим ребенком и понимали, что я уже вырос из игрушек для ванны и еще не дорос до «Словаря современного словоупотребления», то прямо изводились, стараясь поразить меня своим умением найти со мной общий язык. Например, предлагали поиграть в мяч на заднем дворе, и это неизменно кончалось тем, что мяч летел мне в физиономию. Или начинали сюсюкать и просили показать мою любимую игрушку, чтобы знать, что принести в следующий раз. Следующий раз, правда, случался редко. А один тип, прежде чем взять меня на руки, – он собирался «покатать меня на диком мустанге», – спросил маму, умею ли я проситься на горшок.

– НАДО БЫЛО ОТВЕТИТЬ «ДА», А ПОТОМ НАПИСАТЬ ЕМУ НА КОЛЕНИ, – сказал потом Оуэн Мине.

Одна примечательная деталь: все мамыны «кавалеры» были красивые. И я, даже при таком опыте, не был готов к встрече с Дэном Нидэмом, который оказался длинным и неуклюжим парнем с огненно-рыжими волосами. Он носил очки, казавшиеся слишком маленькими на его яйцеобразном лице, – идеально круглые линзы придавали Дэну напряженно-чуткое выражение, делая похожим на гигантскую сову. После того как он ушел, бабушка сказала, что, должно быть, впервые в истории Грейвсендской академии на работу взяли «преподавателя, который выглядит моложе учеников». Вдобавок ко всему, на нем плохо сидела одежда: пиджак был слишком тесным, с короткими рукавами, а брюки настолько велики, что мотня болталась ближе к коленям, чем к бедрам – женоподобно-широким, единственной пухлой части его нескладного тела.

Я был маленьким циником и не сразу разглядел в нем доброту. Его не успели еще представить ни бабушке, ни Лидии, ни даже мне, как он посмотрел прямо на меня и сказал:

– Ты, должно быть, и есть Джонни. Я много слышал о тебе – насколько вообще можно много услышать за полтора часа езды в поезде – и поэтому знаю, что тебе можно доверить на хранение один ценный сверток.

Это была коричневая хозяйственная сумка, внутри которой виднелся бумажный пакет. Ну, начинается, подумал я: какой-нибудь надувной верблюд, который умеет плавать и плевать. Но Дэн Нидэм сказал:

– Это не для тебя, это вообще не для ребят твоего возраста. Но я доверяю тебе: поставь это куда-нибудь в такое место, где на него никто не наступит и до него не доберутся домашние животные, если они у вас есть. Смотри, ни в коем случае не подпускай к нему животных. И не вздумай его открывать. А если начнет шевелиться, скажи мне.

И с этими словами Дэн отдал сумку мне. Для «Словаря современного английского словоупотребления» Фаулера она была недостаточно тяжела, а уж если мне велели не подпускать к ней домашних животных и, «если он начнет шевелиться», сказать Дэну, – ясное дело, там сидит кто-то живой! Я быстренько задвинул сумку под столик в прихожей – мы его называли телефонным столиком – и стал в дверях между прихожей и гостиной, где Дэн Нидэм в это время собирался присесть.

Садиться в бабушкиной гостиной всегда было непросто, потому что большая часть, казалось бы, подходящих кресел и стульев на самом деле для этого не предназначались – то был антиквариат, который бабушка хранила для истории, а для антикварной мебели вредно, когда на нее садятся. Поэтому, хотя гостиная была весьма обильно меблирована мягкими стульями и диванчиками, немногие использовались по назначению – и очередной гость, облюбовав себе место и уже согнув ноги в коленях, едва не подпрыгивал, когда бабушка вскрикивала: «Ох, ради бога, только не туда! Там нельзя сидеть!» Перепуганный гость, пытаясь исправить ошибку, нацеливался на следующее кресло или диван, но и они, по мнению моей бабушки, тоже могли развалиться или рухнуть от непосильной нагрузки. Бабушка, я полагаю, сразу заметила, что Дэн Нидэм – мужчина крупный и к тому же обладает внушительной кормой, – это, без сомнения, означало: выбора у него еще меньше. Вдобавок ко всему Лидия, не успевшая научиться как следует управляться со своей коляской, все время оказывалась у кого-то на дороге, а мама с бабушкой покуда не выработали полезного навыка – просто брать и отодвигать коляску в сторону, когда нужно.

Итак, в гостиной возникла полная неразбериха: Дэн Нидэм кружил от одного драгоценного кресла к другому, а мама и бабушка без конца наталкивались на коляску Лидии, пока в конце концов бабушка властным голосом не скомандовала, куда кому сесть. Я старался держаться подальше от всеобщей суматохи и краем глаза поглядывал на зловещую хозяйственную сумку, представляя себе, что будет, если она слегка зашевелится или если рядом вдруг появится какой-нибудь неведомый щенок и либо съест то, что там внутри, либо сам окажется съеден. У нас в доме никогда не было животных: бабушка считала, что держать домашних животных – значит добровольно делать из себя посмешище, ставя себя с ними на одну доску. И тем не менее я весь извелся, наблюдая за сумкой, чтоб не пропустить ни малейшего шевеления, а еще больше извелся от всей этой дурацкой суеты взрослых, сопровождавшей обряд их знакомства. Однако постепенно мое внимание полностью переключилось на сумку, я потихоньку выскользнул из гостиной, уединился в прихожей и, скрестив ноги, уселся на коврик перед телефонным столиком. Бока сумки разве что не дышали, и мне даже показалось, что я уловил незнакомый, ни на что не похожий запах. Этот подозрительный запах невольно заставлял меня подбираться все ближе и ближе к сумке, пока я окончательно не заполз под столик и не прислонился к ней ухом, прислушиваясь, а потом заглянул внутрь. Однако бумажный пакет внутри сумки надежно скрывал содержимое от моих любопытных глаз.

В гостиной тем временем шел разговор на исторические темы – Дэн Нидэм ведь получил приглашение от кафедры истории. Он достаточно основательно изучал историю в Гарварде и был вполне подготовлен, чтобы вести курс, утвержденный в Грейвсендской академии. «Так, значит, тебя приняли!» – воскликнула мама. У него был необычный подход к истории: он рассматривал историю театра как ключ к истории человечества – он говорил что-то про публичные увеселения, свойственные каждой отдельно взятой исторической эпохе и якобы способные дать представление об этой эпохе не хуже, чем так называемые политические события, – но суть его рассуждений доходила до меня смутно, настолько я был поглощен содержимым хозяйственной сумки в прихожей. Я снова вытащил ее из-под столика, поставил себе на колени и стал ждать, когда там что-то начнет шевелиться.

После собеседования с сотрудниками кафедры истории и с самим директором Академии, продолжал Дэн Нидэм, он попросил дать ему возможность выступить перед теми учениками,

кто интересуется театром, – впрочем, и преподаватели, если хотели бы, тоже могли присутствовать, – и во время этой встречи он попытается наглядно показать им, как с помощью определенных приемов театрального искусства, иными словами – актерских навыков, помочь зрителю лучше понять не только персонажей на сцене, но также и особенности времени и места, в которых протекает театральное действие. На такие собрания, сказал Дэн, он всегда приносит какой-нибудь «реквизит» – что-нибудь интересное, чтобы завладеть вниманием своих учеников или, наоборот, отвлечь их от того, что он собирается показать им в самом конце. А он болтун еще тот, подумал я.

– Что за реквизит? – спросила бабушка.

– Да, что за реквизит? – эхом отозвалась Лидия.

И Дэн Нидэм сказал, что реквизитом может быть все, что угодно: однажды он использовал для этого теннисный мяч, а в другой раз – живую птицу в клетке.

Вот оно что, подумал я, ощупав сумку и решив, что ее твердое, неживое и неподвижное содержимое вполне могло быть клеткой для птиц. Птицу, конечно, трогать нельзя. Но я решил, что хоть посмотреть-то на нее можно, и с замиранием сердца, стараясь действовать как можно тише, так, чтобы эти зануды в гостиной не услышали, как шуршит бумажный пакет в сумке, я слегка приоткрыл его.

Морда, которая уставилась оттуда прямо мне в глаза, никоим образом не напоминала птичью, и не было там никакой клетки, которая помешала бы этой твари прыгнуть на меня; мало того, эта тварь, казалось, не только способна прыгнуть, но, по всем признакам, собиралась это сделать немедленно. Вся внешность животного выражала свирепую угрозу: его рыло, узкое и длинное, как у лисы, нацелилось мне в лицо, словно дуло пистолета; его блестящие дикие глаза горели ненавистью и бесстрашием, а длинные, какие-то доисторические когти передних лап так и тянулись ко мне. Он был похож на куницу в панцире или хорька в чешуе.

Я заорал. Совершенно забыв, что сижу под телефонным столиком, я подскочил как ужаленный, перевернул столик и запутался ногами в телефонном проводе. Не сумев выпутаться, я кинулся из прихожей в гостиную, с грохотом волоча за собой телефон, столик и этого невиданного зверя в сумке. И от этого грохота я заорал снова.

– Боже милостивый! – вскрикнула бабушка.

Но Дэн Нидэм, как ни в чем не бывало, обернулся к маме и весело сказал:

– Вот видишь, я говорил, что он откроет сумку!

Поначалу я подумал, что Дэн Нидэм – такой же болван, как и все остальные, и что он не понимает самого главного в шестилетних детях: ведь сказать им, что нельзя открывать сумку, значит, по сути дела, предложить им это сделать. Но оказалось, он как раз таки очень хорошо понимает, что такое шесть лет. К чести его будь сказано, ему самому в некотором смысле можно было дать не больше шести лет.

– Что там в этой сумке, ради всего святого? – спросила бабушка, когда я наконец сумел выпутаться из телефонного провода и пополз к маме.

– Мой *реквизит*! – ответил Дэн Нидэм.

Да уж, это был реквизит что надо: в сумке лежало чучело броненосца! Мальчишке, выросшему в Нью-Гэмпшире, броненосец казался по меньшей мере небольшим динозавром – потому что кто в Нью-Гэмпшире, скажите на милость, видел когда-нибудь полуметровую крысу с панцирем на спине и когтями, как у муравьеда? Вообще-то броненосцы питаются насекомыми, земляными червями, пауками и улитками – но откуда я мог это знать? Мне казалось, он не прочь закусить мной, хотя я и понимал, что ему это вряд ли удастся.

Дэн Нидэм отдал его мне. Это был первый подарок из всех, что мне дарили мамыны «кавалеры», который я сохранил надолго. Спустя многие годы после того, как у него не стало когтей и отвалился хвост, высыпалась набивка и опали бока, разломился пополам нос и потерялись стеклянные глаза, я продолжал хранить костяные чешуйки от его панциря.

Я, конечно, сразу полюбил броненосца, и Оуэн Мини его тоже полюбил. Часто, когда мы играли на чердаке, доканывая бабушкину древнюю швейную машинку или наряжаясь в одежду покойного дедушки, Оуэн вдруг ни с того ни с сего говорил: «ПОЙДЕМ ВОЗЬМЕМ БРОНЕНОСЦА! ПРИНЕСЕМ ЕГО СЮДА И СПРЯЧЕМ В ЧУЛАНЕ».

В огромном таинственном чулане, где хранилась одежда покойного дедушки, было полно всяких закутков и под потолком тянулись полки, а на полу там и сям стояли ряды башмаков. Где мы только не прятали нашего броненосца: в подмышках старого смокинга, в голенищах болотных сапог, под шляпой; даже подвешивали его на подтяжках. Один из нас прятал его, а другой должен был найти с помощью одного лишь карманного фонарика. И сколько бы раз мы все это ни проделывали, наткнуться на него в темном чулане, внезапно выхватить лучом из темноты его безумную свирепую морду было всегда жутко, и тот, кто его находил, всякий раз издавал при этом оглушительный вопль.

Иногда вопли Оуэна вызывали появление моей бабушки, которой вовсе не хотелось взбираться наверх по шаткой лестнице и самой поднимать тяжелый чердачный люк. Стоя у подножия лестницы, она грозно осаживала нас: «Эй, вы там, потише!» Иногда она добавляла, чтобы мы поосторожнее обращались со старинной швейной машинкой и с дедушкиной одеждой: мол, кто знает, может, когда-нибудь она захочет что-то продать. «Это антикварная швейная машинка, понятно вам?» Ну да, в этом старом доме на Центральной улице почти все было антикварным, но мы с Оуэном знали совершенно точно – вряд ли хоть что-нибудь из этого будет продано, по крайней мере при жизни бабушки. Слишком уж она любила свой антиквариат, и это было заметно: в гостиной все меньше оставалось кресел и диванов, на которых разрешалось сидеть.

Так что мы с Оуэном даже не сомневались, что весь этот хлам пролежит на чердаке до скончания века. И искать среди этих реликтов нашего ужасного броненосца (который и сам казался неким реликтом древнего животного мира, напоминанием о той эпохе, когда человек, выходя из своей пещеры, всякий раз рисковал жизнью), охотиться за этой набитой опилками тварью среди артефактов времен юности моей бабушки стало одним из любимых развлечений Оуэна Мини.

– Я НЕ МОГУ ЕГО НАЙТИ, – доносился его голос из чулана. – Я НАДЕЮСЬ, ТЫ НЕ СРЕДИ БАШМАКОВ ЕГО ЗАПРЯТАЛ? Я НЕ ХОЧУ НЕЧАЯННО НА НЕГО НАСТУПИТЬ. И НАДЕЮСЬ, ТЫ НЕ ПОСТАВИЛ ЕГО НА ПОЛКУ, ПОТОМУ ЧТО Я НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА ОН НАДО МНОЙ. ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ, КОГДА ОН СМОТРИТ НА МЕНЯ СВЕРХУ. И НЕЧЕСТНО СТАВИТЬ ЕГО ТАК, ЧТОБЫ ОН МОГ УПАСТЬ МНЕ НА ГОЛОВУ, ЕСЛИ Я СЛУЧАЙНО ЧТО-ТО ЗАДЕНУ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО СЛИШКОМ СТРАШНО. А КОГДА ОН В РУКАВЕ, ЕГО НЕЛЬЗЯ НАЙТИ, ЕСЛИ НЕ ПОШАРИТЬ ТАМ РУКАМИ, – ТАК ЧТО ЭТО ТОЖЕ НЕЧЕСТНО.

– Чем орать, поискал бы получше, – отвечал я.

– И В ШЛЯПНЫХ КОРОБКАХ ТОЖЕ НЕЧЕСТНО ПРЯТАТЬ, – продолжал Оуэн, спотыкаясь в темноте чулана о груды башмаков. – И ЧТОБЫ ОН ВЫПРЫГНУЛ НА МЕНЯ, ТОЖЕ НЕЧЕСТНО, ПОТОМУ ЧТО ТЫ ТАК НАТЯНУЛ ПОДТЯЖКИ, ЧТО... АААААААААААА!!! ТАК НЕЧЕСТНО!

До того как Дэн Нидэм начал привносить в мою жизнь кое-какую экзотику вроде броненосца – или самого себя, – мои ожидания необычного были связаны в основном с Оуэном Мини и со школьными каникулами, когда мы с мамой ездили «на север» – то бишь в гости к тете Марте с ее семейством.

Для любого жителя побережья Нью-Гэмпшира выражение «на север» может означать практически любое направление в глубь материка; но дело в том, что тетя Марта и дядя Альфред жили в районе Белых гор, который у нас все называли «северным краем», и когда сами

они или их дети говорили, что отправляются «на север», то имели в виду сравнительно короткий отрезок пути в один из городков, что лежали еще немного к северу от них – в Бартлетт или Джексон, – короче, туда, где были настоящие горнолыжные базы. А летом мы ходили купаться на озеро Нелюбимое – и оно тоже лежало «к северу» от станции Сойер, где жили Истмэны. Это была последняя остановка поезда «Бостон – Мэн» перед платформой Норт-Конуэй, где выходило большинство лыжников. Каждый раз на рождественские каникулы и на Пасху мы с мамой брали лыжи, садились в поезд и ехали до станции Сойер, а от платформы до дома Истмэнов шли пешком. Ездили мы туда и летом – по крайней мере раз в год, – и тогда идти было даже легче, потому что не мешали лыжи.

Эти путешествия на поезде – а на дороге уходило не меньше двух часов – давали мне реальное представление о том, как мама ездит каждый четверг в противоположном направлении – на юг, в Бостон, куда сам я ездил очень редко. Но мне всегда казалось, что пассажиры, направляющиеся на север, очень сильно отличаются от тех, кто возвращается в город; лыжники, любители пеших прогулок и купаний в горных озерах – они были так непохожи на людей, которые спешат на свидание или деловую встречу. Эти поездки «на север» я воспринимал как некий обряд и помню их по сей день. А вот возвращение в Грейвсенд не вспомнилось мне ни разу. Обратная дорога – откуда бы то ни было – до сих пор вводит меня в унылое оцепенение или в тягостную дремоту.

Всякий раз, отправляясь в Сойер, мы с мамой дотошно обсуждали, к какому окну вагона нам сесть: к левому, откуда видно гору Чокоруа, или к правому, чтобы видеть озеро Оссипи. По Чокоруа можно было определить, сколько снега будет там, куда мы направляемся, зато на озере происходило больше интересного, и потому мы иногда «решали в пользу Оссипи», как мы с мамой это называли. А еще мы любили угадывать, кто из пассажиров где выйдет, и я незаметно для себя съедал кучу маленьких «чайных» бутербродиков, которые подают в поезде, – тех самых, с обрезанной корочкой. Понятное дело, после этого у меня было оправдание для неизбежного похода в известную комнатку с пошатывающейся дыркой, в которой подо мной проносились шпалы, так что в глазах рябило, и вонючий воздух со свистом обдувал голый зад.

Мама всегда пыталась меня отговорить: «Джонни, мы ведь уже совсем скоро будем в Сойере. Может, тебе лучше потерпеть, пока мы приедем к тете Марте?»

Лучше? Не знаю. Вообще-то, я почти всегда мог потерпеть, но дело тут было не только в том, чтобы опорожнить мочевой пузырь и кишечник перед встречей с братьями и сестрой. Главное – я хотел испытать себя на смелость; ведь это довольно страшно – сидеть беззащитным над этой опасной дырой, представляя себе, как в любую секунду какой-нибудь кусок угля или оторвавшийся костыль может подскочить и долбануть тебя по заднице. А кишечник и мочевой пузырь я опорожнял еще и потому, что очень скоро меня ждало суровое испытание: прямо с порога братья начинали проделывать со мной всякие акробатические номера, иногда довольно жестокие, и нужно было собраться с духом, слегка поугулять себя, чтобы подготовиться к новым передрыгам, которые мне сулили очередные каникулы.

Я вряд ли назвал бы своих братьев и сестру хулиганами; просто это были веселые, бесшабашные сорвиголовы, которые искренне старались меня «расторموшить» – просто «тормошение» они понимали не совсем так, как я, привыкший к женскому обществу дома 80 на Центральной улице Грейвсенда. Я ведь никогда не устраивал борцовских схваток с бабушкой и не боксировал с Лидией, даже когда обе ее ноги были еще при ней. Правда, я играл с мамой в крокет, но крокет ведь не контактный вид спорта. А поскольку моим лучшим другом был Оуэн Мيني, я не очень-то привык ко всяким стычкам и потасовкам, пусть даже и понарошку.

Мама любила сестру и зятя; видно было, что и они всегда искренне рады ее приездам – даже я это чувствовал, – и мама, несомненно, была благодарна им: здесь она могла немного отдохнуть от бабушкиного властного благоразумия.

Бабушка приезжала в Сойер на несколько дней на Рождество; а еще она каждое лето выбирала для своего пышного визита какие-нибудь выходные, но вообще-то «северный край» ее не очень привлекал. И хотя бабушка проявляла безграничное терпение к тому разнообразию, которое я вносил в мирную взрослую жизнь в доме 80 на Центральной улице, – и даже довольно снисходительно относилась к играм, которые мы устраивали в старом доме вместе с Оуэном, – ее терпение очень быстро истощалось, когда все ее внуки собирались вместе; и тут уже не имело значения, в чьем доме это все происходит. Истмэны обычно приезжали в Грейвсенд на День благодарения – и потом несколько месяцев бабушка, упоминая об этом событии, не обходилась без слов вроде «ущерб» или «разгром».

Мои двоюродные братья и сестра были очень энергичными и драчливыми – бабушка называла их не иначе как «вояки», – и, когда мы сходились, для меня наступала другая жизнь. Я балдел от их присутствия, и в то же время они наводили на меня суший ужас. В предвкушении встречи с ними я не находил себе места от возбуждения; но уже через несколько дней не знал, куда от них сбежать, – я начинал скучать по моим спокойным уединенным играм, по Оуэну Мини и даже по постоянным, хоть и справедливым, бабушкиным придирам.

Из нас четверых – Ноя, Саймона, Хестер и меня – я самый младший. Между мной и Хестер разница меньше года, но сестра всегда опережала меня в росте. Саймон старше меня на два, а Ной – на три года. Разница, конечно, не очень большая, но все они были крупнее меня, пока я не подрос к концу школы, – к тому же у них все получалось лучше, чем у меня.

Поскольку выросли они в «северном краю», то неудивительно, что они здорово катались на лыжах. Меня в лучшем случае можно было назвать осторожным лыжником: я старательно подражал маминым медленным, широким и изящным, но совершенно безопасным виражам. Мама неплохо стояла на лыжах – в меру своих способностей. Она всегда сохраняла самообладание и считала, что суть этого вида спорта вовсе не в скорости и не в покорении новых высот. А вот мои братья с сестрой привыкли носиться наперегонки вниз по склонам, «подрезая» друг друга и сшибая с ног. Они редко катались по проторенной лыжне, увлекая меня в лес, где лежал глубокий рыхлый снег; и я, стараясь не отставать от них, забывал об осторожном, консервативном стиле катания, которому меня учила мама; и кончалось все тем, что я или въезжал в дерево, или повисал на заградительном щите, или терял свои лыжные очки в горных ручьях с ледяной водой.

Братья совершенно искренне хотели научить меня ставить лыжи параллельно и подпрыгивать на них, но ведь, если ты можешь кататься только в школьные каникулы, тебе никогда не сравниться с теми, кто родился и вырос в горах. Эта троица словно бросала мне вызов, так что в конце концов мне становилось неинтересно кататься с мамой. Я чувствовал себя немного виноватым, что оставлял ее одну, хотя маме редко приходилось подолгу скучать: к концу дня обязательно находился какой-нибудь тип (якобы лыжный инструктор, – а может, среди них иногда и вправду попадались лыжные инструкторы), которому явно было очень приятно преподавать ей пару уроков.

Из этого катанья мне лучше всего помнится, как я скатываюсь с горы – на спине или на боку, долго, позорно – и как Ной с Саймоном подбирают мои лыжные палки, рукавицы, шапку – все, с чем я неизбежно расставался по дороге.

– Сильно ушибся? – спрашивал Ной, самый старший из братьев. – Я уж думал, ты костей не соберешь.

– Это было клево! – восклицал Саймон.

Он любил падать – он специально разгонялся так, чтобы под конец скатиться с горы кубарем.

– Будешь так падать – без потомства останешься! – замечала Хестер, которая в любом событии нашего общего детства находила что-нибудь сексуально возбуждающее или сексуально травмирующее.

Летом мы часто ходили кататься на водных лыжах на Нелюбимое озеро. У Истмэнов там имелся свой эллинг, второй этаж которого был обставлен под английский паб – дядя Альфред обожал все английское. Мама и тетя Марта любили спокойные водные прогулки на моторной лодке, но когда на руль садился дядя Альфред с банкой пива в руке, начинались совершенно безумные гонки со смертельными пируэтами; сам он на водных лыжах не катался и потому считал, что задача рулевого – как можно больше измучить лыжника. Он мог, например, на полной скорости посреди виража дать задний ход, отчего трос сразу провисал и иногда даже попадал под лыжи. Еще дядя Альфред любил вычерчивать головокружительные «восьмерки» и, по-моему, получал особое удовольствие, огорошив своего лыжника, внезапно выведя его навстречу другой лодке или другому не ожидавшему такого подвоха лыжнику, которых на озере было полно. Не важно, отчего вы падали, но дядя Альфред ставил это в заслугу исключительно себе. Когда лыжник, хорошо разогнавшись, вдруг распластывался на поверхности воды и потом начинал кувыркаться через голову, пуская фонтан брызг и теряя на ходу лыжи, дядя Альфред неизменно кричал: «Гото-о-о-ов!»

Я могу служить живым свидетельством того, что вода в Нелюбимом вполне пригодна для питья: каждое лето, катаясь с Истмэнами на водных лыжах, я выхлебывал чуть не половину озера. Однажды я шлепнулся о воду с такой силой, что у меня завернулось внутрь правое веко. Саймон сказал, что теперь я со своим веком могу распрощаться, а Хестер добавила, что без века я непременно ослепну. Однако, пережив несколько тревожных минут, дядя Альфред все же сумел вернуть его на место.

Впрочем, и домашние игры в доме Истмэнов проходили не менее буйно. После долгих и упорных боев подушками я долго не мог отдышаться; а потом Ной с Саймоном забавлялись тем, что связывали меня и сажали в корзину, куда Хестер складывала свое грязное белье. Обнаруживая меня там, Хестер всякий раз поднимала гвалт, что я роюсь в ее нижнем белье, и только потом развязывала меня. Я точно знаю, что Хестер с особым нетерпением ждала моих приездов – ведь нелегко все время быть слабейшим! И нельзя сказать, что братья издевались над ней – ее даже не дразнили. Ведь они были мальчишками, а Хестер – девчонка, да к тому же младше их, – думаю, они обращались с ней достаточно бережно; но в том-то и дело, что эта троица уже жить не могла без постоянного соперничества, и Хестер, понятное дело, надоедало все время проигрывать. Естественно, братья всегда брали над ней верх. Как же она, должно быть, радовалась, когда я к ним приезжал! Еще бы, ведь тогда и она могла взять верх – надо мной. Причем во всем – даже когда мы отправлялись на реку у лесопилки прыгать по бревнам, что сплавляли по реке. Кроме того, мы играли в «царя горы». Во дворе лесного склада высились горы опилок, футов в двадцать-тридцать; в самом низу, ближе к земле, опилки часто смерзались за зиму, образуя твердую корку. Суть игры была в том, чтобы занять верхушку горы и стать ее «царем», сталкивая соперников вниз или зарывая их в опилки.

Самое неприятное начиналось после того, как вас зарывали в опилки по самый подбородок. У Истмэнов был пес – слюнявый, бестолковый и безумно приветливый боксер, у которого, однако, имелся один маленький изъян: из его пасти разило до того мерзко, что от этого запаха вам мерещился целый сонм мертвецов, восставших из могил. И вот представьте: этого пса подзывают к вам, и он радостно начинает облизывать ваше лицо, обдавая дыханием самой смерти... А вы, зарытые в опилки, оставшись без рук в буквальном смысле слова – как тотем Ватахантауэта, – не можете от этого пса даже отмахнуться.

И все же мне нравилось играть с братьями и сестрой. Они так заводили меня днем, что я потом никак не мог заснуть. Я мог часами лежать, не смыкая глаз, и ждать, что они вот-вот ворвутся в мою комнату или впустят ко мне этого боксера, которого звали Самогон, и он залижет меня до смерти. Или я просто лежал, воображая, какие новые стычки ждут меня завтра.

Для мамы наши поездки в Сойер были счастливыми моментами – свежий воздух, болтовня с тетей Мартой и столь необходимая ей перемена после однообразной жизни, замыкавшейся лишь на бабушке, Лидии и горничных. Маме наверняка ужасно хотелось иногда удрать из дому. Рано или поздно почти всем вдруг ужасно хочется удрать из дому, и почти всем это идет на пользу. Для меня же Сойер стал неким тренировочным лагерем, – хотя меня будоражили не сами спортивные состязания с Истмэнами, а то, что в этих стычках во мне пробуждались сексуальные токи, которые всегда ассоциируются у меня с состязанием вообще и с Хестер в частности.

Я по сей день продолжаю спорить с Ноем и Саймоном, что больше повлияло на Хестер: окружение, состоявшее почти исключительно из Ноя и Саймона (это моя точка зрения), или в ней от природы была заложена избыточная сексуальная агрессия и враждебность по отношению к родным (как считают Ной с Саймоном). Все мы, однако, сходимся в том, что влияние тети Марты – носительницы женского начала – не шло ни в какое сравнение с той подавляющей мужской волей, которая исходила от дяди Альфреда. Валить деревья, расчищать землю, обрабатывать древесину – что и говорить, в компании «Истмэн Ламбер» занимались настоящим мужским делом!

Дом Истмэнов в Сойере был просторным и уютным: тетя Марта унаследовала от моей бабушки хороший вкус, к тому же в приданое получила неплохой капитал. Однако дядя Альфред *заработал* гораздо больше того, что у нас, Уилрайтов, просто лежало в сундуках. Дядя Альфред воплощал собой образец мужественности: во-первых, потому, что был богат, а во-вторых, потому, что одевался как настоящий лесоруб, даром что большую часть дня проводил за письменным столом. На лесопилке он, конечно, тоже появлялся, но заходил туда ненадолго – а в чащу, где, собственно-то, и валили лес, он вообще наведывался от силы раза два в неделю, – но своему образу лесоруба соответствовал всегда. Силы он был невероятной, хотя я в жизни не видел, чтобы дядя работал физически. У него был здоровый, цветущий вид, и, несмотря на то что он так редко появлялся «на заготовках», в его косматых волосах всегда виднелись опилки, в шнурках ботинок – кусочки стружки, а на штанинах джинсов обязательно торчало несколько пахучих сосновых иголок. Может, он специально держал опилки, стружку и сосновые иголки в ящике своего рабочего стола – не знаю.

Хотя какое это имеет значение? Когда мы с братьями и сестрой устраивали с дядей Альфредом поединки, он боролся очень осторожно, чтобы не сделать нам больно; и при этом от него всегда исходил неповторимый аромат соснового леса – запах, въевшийся в него за долгие годы тяжелой и грубой мужской работы. Я не знаю, как тетя Марта относилась к тому, что Самогон часто спал на гигантской кровати в их спальне, но это было, пожалуй, еще одним проявлением мужского начала в дяде Альфреде: когда он не ласкал свою милую женушку, то мог преспокойно нежиться в той же постели со своим огромным псом.

Дядя Альфред мне казался удивительным, потрясающим отцом; и для своих сыновей он превосходно служил тем, что современные ученые идиоты называют «ролевой моделью». Однако для Хестер, судя по всему, такая «ролевая модель» только осложнила жизнь: по-моему, обожание, которое она питала к отцу – вдобавок к постоянным проигрышам в каждодневных состязаниях с братьями, – просто-таки подавляло ее, что в результате вылилось в ничем не оправданное презрение к тете Марте.

Я знаю, что ответил бы Ной. Он ответил бы: все «фигня», их мама – образец душевности и отзывчивости (это правда, я и не спорю!), просто у Хестер врожденное неприятие матери, а взаимная любовь родителей ее бесит; и единственное, чем она могла отплатить братьям за то, как они обставляли ее и на горных, и на водных лыжах, и за то, что всегда скидывали с горы из опилок, и за то, что засовывали двоюродного брата в корзину с ее грязным бельем, – так это наводить ужас на всех их подружек и перетрахать всех их знакомых мальчишек. Что ей, кажется, вполне удалось.

Совершенно безнадежно спорить о том, что в нас заложено от рождения, а чем мы обязаны своему окружению. И к тому же скучно, – ведь это не более чем попытка упростить тайну, окутывающую наше рождение и взросление.

Лично я до сих пор отношусь к Хестер гораздо снисходительнее, чем все ее семейство. У меня такое ощущение, что с самого начала ее словно втянули в нечестную игру. Это произошло в тот день, когда Ной с Саймоном впервые заставили меня поцеловать ее. Они ясно дали понять, что поцеловать Хестер – это наказание, штраф; если ты должен целовать Хестер, значит, ты проиграл.

Я теперь уже не помню, сколько нам с Хестер было лет, когда нас в первый раз заставили поцеловаться, но это произошло после того, как мама познакомилась с Дэном Нидэмом, – Дэн тогда поехал с нами в Сойер на рождественские каникулы, – но до того, как они поженились, потому что мы с мамой тогда еще жили в доме 80 на Центральной. Во всяком случае, мы с Хестер еще даже не были подростками – вернее, не вступили в пору полового созревания. Про Хестер, правда, определенно сказать нельзя ничего, но за себя могу ручаться.

В общем, дело было так. В «северном краю» тогда стояла оттепель; сначала слегка накрапывал дождь, потом поднялся буран, а после этого вся грязь и слякоть на лыжне замерзла. Снег покрылся ледяной коркой, похожей на пупырчатое стекло; в такую погоду Ной и Саймон особенно любили кататься, но для меня это было совершенно исключено. Итак, Саймон с Ноем, несмотря на плохую погоду, отправились «на север», а я остался в чрезвычайно уютном доме Истмэнов. Почему Хестер не пошла с ними, я уже не помню, – может, была не в настроении, а может, просто поленилась рано встать. Короче говоря, мы остались вместе и под вечер, перед тем как вернулись Ной с Саймоном, сидели в ее комнате и играли в «Монополию». Вообще-то я терпеть не могу «Монополию», но тогда даже эта настольная игра в капиталистов показалась мне райским отдыхом после всех этих борцовских захватов и падений через голову, которые мне устраивали братья. Да и Хестер вела себя на удивление спокойно и умиротворенно, – а может, я просто редко видел ее отдельно от Ноя с Саймоном, в обществе которых просто невозможно было оставаться спокойным.

Мы лежали, развываясь, на толстом пушистом ковре в комнате Хестер среди ее старых мягких игрушек, как вдруг на нас налетели эти двое с холодными после улицы руками и рожами. Они без тени смущения прошли по разложенной на полу «Монополии», сметая на своем пути все наши дома, отели и фишки, так что не было никакой надежды все это потом восстановить.

– Ого! – заорал Ной. – Ты погляди только, как мило они тут забавляются!

– Никто тут не забавляется! – огрызнулась Хестер.

– Ого! – заорал Саймон. – Берегись ее, это же Похотливая Самка!

– А ну выметайтесь вон из моей комнаты! – крикнула Хестер.

– Кто последним пробежит через весь дом, тот целует Похотливую Самку! – сказал Ной, и в следующую секунду они сорвались с места.

Я глянул на Хестер – и бросился вдогонку. «Через весь дом» было одной из наших игр и означало, что мы должны пробежать через спальни в задней части дома – комнаты Ноя и Саймона и комнату для гостей, которую тогда занимал я, – затем спуститься по черной лестнице, мимо комнаты горничной, откуда, скорее всего, выйдет горничная Мэй и наорет на нас, потом в кухню через дверь, которой пользуется Мэй (она выполняла также обязанности кухарки). Дальше наш путь лежал через кухню и столовую, потом следовало миновать гостиную, террасу, кабинет дяди Альфреда – при условии, что его там в это время нет, – затем снова наверх по парадной лестнице, мимо комнат для гостей в передней части дома, выходящих в главный коридор, через спальню дяди Альфреда и тети Марты – опять-таки при условии, что их там в это время нет, – и затем в задний коридор, первая дверь из которого вела в ванную Хестер. Порог следующей комнаты означал финишную черту – это была собственно комната Хестер.

Как и следовало ожидать, Мэй показалась на пороге своей комнаты и принялась кричать, чтобы мы не бегали по лестнице, но, к тому времени как она вышла на площадку, я остался один, так что притормаживать, выслушивать ее ругань и извиняться тоже пришлось мне одному. Пробегая из кухни в столовую, они закрыли дверь, и я потерял еще довольно много времени, пока открыл ее. Дяди Альфреда в кабинете не оказалось, зато там сидел с книжкой Дэн Нидэм, и мне опять пришлось притормозить, чтобы крикнуть ему: «Привет». Наверху парадной лестницы у меня на пути встал Самогон; когда мимо него проносились Ной с Саймоном, он, конечно, еще спал, но сейчас оживился и выразил желание поиграть со мной. Я попытался пробежать мимо, но он ухитрился схватить меня зубами за носок; тащить на буксире пса через весь коридор я не смог, так что пришлось останавливаться и снимать носок.

Итак, я пришел к финишу последним. Я всегда приходил последним – и теперь нужно было платить штраф, то бишь целовать Хестер. Чтобы состоялся наш насильственный поцелуй, братьям важно было не дать Хестер запереться в ванной – а она попыталась-таки это сделать, – а затем они привязали ее к кровати, что им удалось лишь после яростной борьбы, – при этом оторвали голову мягкой игрушке, которой Хестер изо всех сил отбивалась от братьев. В конце концов они привязали ее ремнями к кровати, и тогда она пригрозила, что откусит губы любому, кто посмеет поцеловать ее. От ужаса я чуть не удрал, и Ной с Саймоном привязали меня сверху к Хестер альпинистской веревкой. Мы лежали в страшно неудобной позе, связанные, лицом к лицу, прижатые друг к другу грудью и бедрами – для полноты нашего унижения; и братья нам объявили, что мы так и будем лежать, пока не поцелуемся.

– Целуй ее! – крикнул мне Ной.

– А ты дай ему, дай, пусть поцелует! – сказал Саймон сестре.

Мне сейчас кажется, что Хестер это приказание было выполнить даже легче, чем мне; я не мог думать ни о чем, кроме ее рта, из которого сквозь зубы вырывались проклятия и который представлялся мне не более соблазнительным, чем пасть Самогона. Однако, я думаю, мы оба понимали, что наше мучительное положение, брачная поза, в которой мы, по всей видимости, можем пребывать сколь угодно долго, пока Ной с Саймоном будут наблюдать, как мы тяжело дышим и делаем жалкие попытки высвободиться, принесет нам куда большие страдания, чем если мы уступим им и разок поцелуемся. Но какие же мы были идиоты, если рассчитывали, будто Ной с Саймоном окажутся такими простофилями, что удовлетворятся одним поцелуем! Мы попробовали отделаться тем, что прижались друг к другу щеками, но Ной тут же крикнул: «Так не считается! В губы!» Мы на мгновение коснулись друг друга сомкнутыми губами, но это не устроило Саймона, и он приказал: «Раскройте рты!» Пришлось раскрыть рты. Мы не сразу поняли, что нужно повернуть головы, чтобы не мешали носы, и только потом почувствовали волнуемый вкус чужой слюны – наши языки скользнули друг о друга, и наши зубы неожиданно соприкоснулись. Мы не могли оторваться друг от друга, пока не почувствовали, что нужно глотнуть хоть немного воздуха, и меня поразило, какое чистое и свежее дыхание у моей сестры. Я до сих пор надеюсь, что мое было ненамного хуже.

О том, что игра окончена, мои братья объявили так же неожиданно, как и придумали ее. Потом, с каждым новым повторением, игра под названием «Кто последним пробежит через весь дом, тот целует Хестер» вызвала у них все меньше восторга. Может, они поняли, что я намеренно начал проигрывать. А что они, интересно, подумали, когда Хестер сказала мне после того, как они нас развязали: «Я почувствовала, у тебя встал»?

– Неправда! – вспыхнул я.

– Правда, правда. Не очень сильно, конечно. Что тут такого? Ну, встал немножко. Я же почувствовала.

– Ты все врешь! – сказал я.

– Нет, не вру, – ответила она.

В общем, она была права – ничего в этом особенного нет, если уж на то пошло; и встал у меня, пожалуй, не то чтобы совсем, но все-таки немножко встал.

Интересно, Ной с Саймоном вообще когда-нибудь задумывались об опасности подобных игр? То, как они катались на лыжах – и на водных, и на горных – и как позже стали водить машину, наводило на мысль, что они вообще никогда не думали об опасности. Но в нас с Хестер таилась опасность. А начали все это они. Да, начали все Ной с Саймоном.

Спас меня Оуэн Мини. Как вы видите, Оуэн спасал меня всю жизнь; но впервые он меня спас именно от Хестер.

Оуэн чрезвычайно болезненно воспринимал мои поездки к Истмэнам. Он делался мрачный за несколько дней до моего отъезда в Сойер, а после моего возвращения еще несколько дней дулся и держался прохладно. И хотя я не раз давал ему понять, как изматывает меня и физически, и душевно совместное времяпровождение с двоюродными братьями и сестрой, Оуэн все равно хмурился. Я думаю, он просто ревновал.

– ТЫ ЗНАЕШЬ, Я ТУТ ПОДУМАЛ, – сказал он мне как-то, – Я ПОДУМАЛ, КОГДА ТЫ ПРОСИШЬ МЕНЯ ОСТАТЬСЯ У ТЕБЯ НОЧЕВАТЬ, Я ПОЧТИ ВСЕГДА СОГЛАШАЮСЬ – И НАМ ВЕСЕЛО, ВЕРНО?

– Ну конечно, Оуэн, – ответил я.

– НУ ВОТ. И Я ТУТ ПОДУМАЛ... В ОБЩЕМ, ЕСЛИ БЫ ТЫ ПОПРОСИЛ МЕНЯ ПОЕХАТЬ С ТОБОЙ И ТВОЕЙ МАМОЙ В СОЙЕР, Я, ПОЖАЛУЙ, ПОЕХАЛ БЫ, – сказал он. – ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ, Я НЕ ПОНРАВЛЮСЬ ТВОИМ БРАТЬЯМ С СЕСТРОЙ?

– Ты-то им конечно понравишься! – поспешил я ответить. – Но я не знаю, понравятся ли они тебе.

Я не решился сказать ему об этом, но мне казалось, если он поедет со мной к Истмэнам, уж весело ему точно не будет. Если даже в воскресной школе мы поднимали его над головой и передавали по рукам, то страшно даже представить, до чего могут додуматься мои братья с сестрой, чтобы поразвлечься с Оуэном Мини.

– Ты ведь не умеешь кататься на лыжах с горы, – сказал я ему, а потом добавил: – И на водных тоже не умеешь. И я не думаю, что тебе понравится бегать с ними по плавающим бревнам и сталкивать друг друга в реку. И бороться на горе из опилок тоже, наверно, не понравится.

Я бы мог еще добавить: «И с Хестер целоваться», но не мог даже и представить себе Оуэна за этим занятием. Бог ты мой, думал я, да они же просто убьют его!

– НУ, МОЖЕТ, ТВОЯ МАМА МОГЛА БЫ НАУЧИТЬ МЕНЯ КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ. И ПОТОМ, ВЕДЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО БЕГАТЬ ПО БРЕВНАМ, ЕСЛИ ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ, ПРАВДА ЖЕ? – спросил он.

– Ты понимаешь, у них как-то так быстро все выходит, – попробовал я ему объяснить, – что ты даже не успеешь сказать, хочется тебе или не хочется.

– НУ, МОЖЕТ, ЕСЛИ ТЫ ПОПРОСИШЬ ИХ БЫТЬ СО МНОЙ ПООСТОРОЖНЕЕ – ПОКА Я НЕ ОСВОЮСЬ КАК СЛЕДУЕТ, – предположил он, – ОНИ ВЕДЬ ТЕБЯ ПОСЛУШАЮТСЯ, ВЕРНО?

Нет, у меня это просто в голове не укладывалось – мои братья с сестрой и рядом Оуэн! Мне казалось, они просто с катушек слетят, когда его увидят, а уж когда он заговорит – когда они впервые услышат его *голос*... У меня в голове стали возникать картины одна кошмарнее другой: они ведь сделают из него метательный снаряд, думал я, волан для бадминтона или что-нибудь в этом роде; или привяжут его к одной лыже и запустят с самой верхушки горы; или посадят в салатницу и прицепят к моторной лодке, чтобы на полной скорости буксировать по Нелюбимому озеру; или зароют в опилках и потеряют. Его ведь черта с два потом найдешь. Или его проглотит Самогон.

– Они ведь такие... неуправляемые, – втолковывал я ему. – В чем вся штука-то.

– ТЕБЯ ПОСЛУШАТЬ, ТАК ОНИ ПРОСТО КАКИЕ-ТО БЕШЕНЫЕ ЗВЕРИ, – сказал Оуэн.

– Ну, в каком-то смысле так и есть, – сказал я.

– НО ТЕБЕ ВЕДЬ С НИМИ ВЕСЕЛО, РАЗВЕ НЕ ТАК? – не унимался Оуэн. – ПОЧЕМУ И МНЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ С НИМИ ВЕСЕЛО?

– И весело и невесело, – вздохнул я. – Я просто думаю, для тебя это будет слишком.

– НА САМОМ ДЕЛЕ ТЫ ДУМАЕШЬ, Я ИМ ПОКАЖУСЬ СЛАБАКОМ, – сказал он.

– Я вовсе не считаю тебя слабаком, Оуэн, – возразил я.

– НО ТЫ ВЕДЬ ДУМАЕШЬ, ОНИ ТАК ПОСЧИТАЮТ? – спросил он.

– Не знаю, – ответил я.

– МОЖЕТ, МНЕ КАК-НИБУДЬ С НИМИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ У ТЕБЯ ДОМА, КОГДА ОНИ ПРИЕДУТ НА ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ, – предложил он. – СТРАННО, ЧТО ТЫ ДО СИХ ПОР НИ РАЗУ МЕНЯ НЕ ПРИГЛАСИЛ, КОГДА ОНИ БЫЛИ У ВАС В ГОСТЯХ.

– Бабушка считает, что в доме и так слишком много детей, когда они приезжают, – пояснил я, но Оуэн так печально нахмурился, что я предложил ему остаться у меня ночевать – он очень это любил.

Как обычно в таких случаях, он позвонил отцу и спросил разрешения, хотя мистер Мини никогда ему не отказывал. Оуэн оставался в доме номер 80 так часто, что в моей ванной лежала его зубная щетка, а в шкафу – его пижама.

А после того как Дэн Нидэм подарил мне броненосца, Оуэн очень привязался к этому зверю – впрочем, и к Дэну тоже, не меньше моего. Когда Оуэн спал в моей комнате, мы аккуратно устанавливали броненосца на разделявший наши кровати ночной столик, под лампой, так что он стоял точно боком к каждому из нас, мордой к нашим ногам. К ножке стола мы прицепляли ночник, и он освещал броненосца снизу, выхватывая из темноты его пасть и чуткие ноздри на вытянутом рыльце. Мы подолгу болтали, пока у нас не начинали слипаться глаза; однако утром я всегда замечал, что броненосец изменил положение – его морда была слегка повернута в сторону Оуэна, и я видел зверька уже не совсем точно в профиль. А однажды я проснулся и увидел, что Оуэн не спит: он не отрываясь глядел на броненосца и улыбался. И когда я впервые после того, как в моей жизни появился подарок Дэна Нидэма, собрался ехать в Сойер, неудивительно, что Оуэн воспользовался случаем, чтобы проявить заботу о благополучии броненосца.

– ПОСЛЕ ТОГО, ЧТО ТЫ РАССКАЗЫВАЛ МНЕ О СВОИХ ДВОЮРОДНЫХ БРАТЬЯХ С СЕСТРОЙ, – начал он, – Я ДУМАЮ, ТЕБЕ ВРЯД ЛИ СТОИТ БРАТЬ БРОНЕНОСЦА С СОБОЙ В СОЙЕР. – Мне, честно говоря, и в голову не приходило брать его с собой, но Оуэн явно не раз задумывался о том, какой трагедией может обернуться для броненосца подобное путешествие. – ТЫ МОЖЕШЬ ЗАБЫТЬ ЕГО В ПОЕЗДЕ, – сказал он, – ИЛИ ЭТОТ ИХ ПЕС МОЖЕТ ЕГО ЦАПНУТЬ. КАК ЕГО, КСТАТИ, ЗОВУТ?

– Самогон, – ответил я.

– ДА, САМОГОН, – МНЕ КАЖЕТСЯ, ЕГО ОПАСНО ПОДПУСКАТЬ К БРОНЕНОСЦУ, – продолжал Оуэн. – И ЕСЛИ ТВОИ БРАТЬЯ И ВПРАВДУ ТАКИЕ ГОЛОВОРЕЗЫ, КАК ТЫ ГОВОРИШЬ, КТО ЗНАЕТ, ЧТО ИМ МОЖЕТ ПРИЙТИ В ГОЛОВУ – ВДРУГ ОНИ РАЗЛОМАЮТ ЕГО НА КУСОЧКИ ИЛИ ПОТЕРЯЮТ В КАКОМ-НИБУДЬ СУГРОБЕ.

– Пожалуй, – сказал я.

– А ЕСЛИ ОНИ ЗАХОТЯТ ПРОКАТИТЬ БРОНЕНОСЦА НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ, ТЫ СМОЖЕШЬ ИМ ПОМЕШАТЬ? – спросил он.

– Вряд ли, – признал я.

– ВОТ И Я ТАК ПОДУМАЛ, – сказал Оуэн. – ТАК ЧТО ЛУЧШЕ НЕ БЕРИ ТУДА БРОНЕНОСЦА.

– Ладно, – согласился я.

– ЛУЧШЕ РАЗРЕШИ МНЕ ВЗЯТЬ ЕГО К СЕБЕ. Я БУДУ ЗА НИМ ПРИСМАТРИВАТЬ, ПОКА ТЕБЯ НЕТ. А ТО, ЕСЛИ ОН ОСТАНЕТСЯ ЗДЕСЬ ОДИН, ВДРУГ ГОРНИЧНАЯ ПО ГЛУПОСТИ С НИМ ЧТО-НИБУДЬ СДЕЛАЕТ? ИЛИ ВДРУГ НАЧНЕТСЯ ПОЖАР?

– Я как-то даже не думал об этом, – признался я.

– НУ ВОТ, А СО МНОЙ ОН БУДЕТ В ПОЛНОЙ СОХРАННОСТИ, – сказал Оуэн, и я, конечно же, согласился. – И ЕЩЕ Я ТУТ ПОДУМАЛ, – продолжал он, – НА ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ, КОГДА ТВОИ БРАТЬЯ С СЕСТРОЙ ПРИЕДУТ СЮДА, ТЫ ТОЖЕ РАЗРЕШИ МНЕ ЗАБРАТЬ БРОНЕНОСЦА К СЕБЕ. Я БОЮСЬ, ОНИ МОГУТ ОБОЙТИСЬ С НИМ СЛИШКОМ ГРУБО. У НЕГО ВЕДЬ ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ НОС, ДА И ХВОСТ МОЖЕТ ОБЛОМИТЬСЯ. И ЕЩЕ Я ДУМАЮ, НЕ СТОИТ ИМ ПОКАЗЫВАТЬ НАШУ ИГРУ, В КОТОРУЮ МЫ ИГРАЕМ В ЧУЛАНЕ, ГДЕ ВИСИТ ОДЕЖДА ТВОЕГО ДЕДУШКИ. Я БОЮСЬ, ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТУПЯТ НА БРОНЕНОСЦА В ТЕМНОТЕ.

Или выбросят в окно, подумал я и сказал:

– Это точно.

– НУ ВОТ И ХОРОШО, – сказал Оуэн. – ЗНАЧИТ, ДОГОВОРИЛИСЬ: Я БУДУ ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА БРОНЕНОСЦЕМ, КОГДА ТЫ БУДЕШЬ УЕЗЖАТЬ И КОГДА ПРИЕДУТ ТВОИ БРАТЬЯ С СЕСТРОЙ ТОЖЕ – НА ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ. ТЫ ПРИГЛАСИШЬ МЕНЯ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ, ЛАДНО?

– Ладно, Оуэн, – подтвердил я.

– НУ ВОТ И ХОРОШО, – подытожил он.

Он очень обрадовался, хотя и немного разволновался. В первый раз, когда он забирал броненосца к себе, он притащил из дому коробку, устланную ватой, – специальный очень крепкий переносной ящик, в котором броненосца можно было смело отправлять хоть на край света. В таких ящиках, как пояснил Оуэн, пересылают инструменты для работы с гранитом – всякие там стамески и граверные резцы, – так что ящик очень прочный. Мистер Мини, пытаясь поддержать на плаву свой не очень-то успешный гранитный бизнес, решил слегка потеснить изготовителей надгробий; по словам Оуэна, его отцу с некоторых пор стало жалко продавать лучшие куски гранита другим фирмам, которые делают из них памятники и, как выразился мистер Мини, ломают бешеные цены. Он открыл в центре города собственную мрачную мастерскую-магазин под вывеской «Мини. Памятники и надгробия», но образцы надгробий в центральной витрине походили скорее на самые настоящие могилы, вокруг которых зачем-то возвели стены и назвали это магазином.

«Это какой-то ужас. Устроить кладбище прямо в магазине!» – с возмущением заметила моя бабушка. Но ведь мистер Мини просто не имел опыта торговли памятниками; возможно, ему просто не хватило времени, чтобы придать своему магазину более фешенебельный вид.

Итак, мы упаковали броненосца в ящик для перевозки резцов – Оуэн называл их какими-то специальными камнерезными терминами вроде «ЩЕЧКИ С КЛИНЬЯМИ», – и он торжественно пообещал беречь нашего зверька как зеницу ока. Очевидно, миссис Мини сильно перепугалась, впервые увидев броненосца, – Оуэн не предупредил родителей, что принесет его домой; но потом он решил: это послужит маме уроком – нечего, мол, входить к нему в комнату без предупреждения. В комнате Оуэна (которую я видел лишь мельком) все содержалось в таком идеальном порядке, словно это был музей. Думаю, именно поэтому я долгие годы был уверен, что бейсбольный мяч, которым убило мою маму, конечно же хранится как памятный экспонат в этой необычной комнате.

Никогда не забуду тот День благодарения, когда я познакомил Оуэна Мини с моими буйными братьями и сестрой. Накануне приезда Истмэнов в Грейвсенд Оуэн пришел ко мне забрать броненосца.

– Да они ведь приедут только завтра вечером, – сказал я ему.

– А ВДРУГ РАНЬШЕ? – предположил Оуэн. – МАЛО ЛИ ЧТО ТОГДА МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ. ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ.

Оуэн хотел прийти знакомиться с ними сразу после праздничного обеда, но я решил, что лучше это сделать на следующий день. Во время праздничного обеда все так наедаются, рассуждал я, что потом обычно хотят отдохнуть, так что это не совсем удачное время для визита.

– НО Я ДУМАЛ, ОНИ БУДУТ НЕМНОГО СПОКОЙНЕЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НАЕДЯТСЯ, – предположил Оуэн.

Должен признаться, мне его мандраж доставлял некоторое удовольствие. Я даже боялся, что, когда Оуэн будет знакомиться с моими братьями и сестрой, те вдруг окажутся в непривычно благодушном настроении и тогда он решит, что я просто все выдумал насчет их буйства, а потому не будет мне прощения, что я до сих пор ни разу не пригласил его в Сойер. Конечно, я хотел, чтобы они полюбили Оуэна, потому что я сам его любил – как-никак он был моим лучшим другом, – но в то же время я не хотел, чтобы первая встреча прошла настолько гладко, что мне придется в следующий раз приглашать Оуэна в Сойер. Я был уверен, что это плохо кончится. А еще я переживал, как бы они не стали дразнить Оуэна, и, признаюсь, боялся, что буду его стесняться – мне до сих пор стыдно за это.

Как бы там ни было, мы оба переживали – и я, и Оуэн. Поздно вечером в День благодарения мы шепотом разговаривали по телефону.

– ОНИ СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ БУЙНЫЕ? – спросил Оуэн.

– Да нет, не очень, – ответил я.

– КОГДА ОНИ ВСТАЮТ? КОГДА МНЕ ЛУЧШЕ ЗАВТРА ПРИЙТИ? – спросил он.

– Мальчишки поднимаются рано, – сказал я. – А Хестер обычно спит дольше – хотя, может, просто позже выходит из своей комнаты.

– САМЫЙ СТАРШИЙ – НОЙ? – спросил Оуэн, хотя мы с ним уже тысячу раз все это обговаривали.

– Да, – сказал я.

– А САЙМОН – СРЕДНИЙ, НО ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ БОЛЬШОЙ, КАК НОЙ, И ДАЖЕ НЕМНОЖКО БУЙНЕЕ?

– Да, да, – подтвердил я.

– А ХЕСТЕР САМАЯ МЛАДШАЯ, НО ВСЕ РАВНО СТАРШЕ ТЕБЯ, – сказал Оуэн, – И ОНА СИМПАТИЧНАЯ, ХОТЬ И НЕ КРАСАВИЦА, ВЕРНО?

– Да, все точно, – ответил я.

Что касается природной истмэновской красоты, то тут Хестер обошли. Ной с Саймоном унаследовали от дяди Альфреда его мужскую статью – широкие плечи, крупную кость, тяжелый подбородок, а от тети Марты мальчишкам достались светлые волосы и аристократические черты. Но те же широкие плечи, крупная кость и тяжелый подбородок – все это не особенно украшало Хестер, которая к тому же не получила от матери ни светлых волос, ни аристократических черт. Своими темными густыми волосами Хестер пошла в дядю Альфреда – как и густыми бровями, которые, по сути, срослись в одну сплошную бровь без всякого промежутка на переносице. А еще Хестер унаследовала от отца большие руки – эдакие лапищи.

И все же Хестер обладала известной сексуальной притягательностью – во вкусе того времени, когда грубоватые девушки считались сексуальными. Она была крупная, спортивного телосложения, и ей в подростковом возрасте приходилось бороться с лишним весом; но зато у нее была чистая кожа и выразительные выпуклости; энергичный рот, полный сверкающих здоровых зубов, и насмешливый взгляд пугающе умных глаз. Волосы у нее были густые и непослушные.

– У меня тут есть один друг, – сказал я Хестер вечером в тот день.

Я решил договориться с ней, а уж потом рассказать про Оуэна Ной и Саймону; но хотя я разговаривал с Хестер довольно тихо, а Ной и Саймон, как мне показалось, всецело были поглощены поисками пропавшей радиоволны, они все-таки услышали меня и тут же навестили уши.

– Что еще за друг? – спросил Ной.

– Ну, вообще-то это мой лучший друг, – осторожно сказал я, – и он хочет с вами со всеми познакомиться.

– Здорово! Ну и где же он? Как его зовут? – спросил Саймон.

– Оуэн Мини, – постарался я выговорить как можно непринужденней.

– Чего-чего? – переспросил Ной, и все трое громко заржали.

– Ни фиги себе фамилия! – сказал Саймон.

– А что с ним не так? – спросила меня Хестер.

– Да все у него нормально, – сказал я, пожалуй, немного резче, чем следовало бы. – Просто он довольно маленький.

– Довольно маленький, – повторил Ной голосом чопорного британца.

– Довольно маленький – и довольно плюгавенький? – спросил Саймон, копируя брата.

– Да нет, почему это вдруг плюгавенький, – поспешно ответил я. – Просто маленький.

И еще у него необычный голос, – брякнул я.

– Вот это да! Необычный голос! – воскликнул Ной необычным голосом.

– Необычный голос? – переспросил Саймон другим необычным голосом.

– Стало быть, это маленький мальчишка с необычным голосом, – сказала Хестер. – Ну и что? Что у него не так?

– Да все у него нормально! – повторил я.

– Почему у него что-то должно быть не так, а, Хестер? – спросил ее Ной.

– А просто наша Похотливая Самка хочет закадрить его, – предположил Саймон.

– Заткнись, Саймон! – рявкнула Хестер.

– Заткнитесь вы оба, – сказал Ной. – Вот интересно, почему Хестер думает, что со всеми чего-нибудь не так.

– У всех твоих друзей что-то да не так, Ной, – сказала Хестер. – И у Саймоновых друзей тоже, – добавила она. – И могу поспорить, у друзей Джонни тоже что-нибудь не так.

– Надо полагать, у твоих подружек все в полном порядке, – предположил Ной, обращаясь к сестре.

– А у Хестер вообще нет подружек! – выдал Саймон.

– Заткнись! – снова рявкнула Хестер.

– Это еще почему? – спросил Ной.

– Заткнись! – повторила Хестер.

– Короче, у Оуэна все нормально, – сказал я, – если не считать, что он маленький и у него немножко необычный голос.

– Слушай, он мне уже начинает нравиться, – весело сказал Ной.

– Эй! – воскликнул Саймон, хлопнув меня по спине. – Если он и вправду твой друг, не переживай – мы с ним поладим!

– Эй! – крикнул Ной и тоже хлопнул меня по спине. – Не переживай! Повеселимся все вместе.

Хестер пожала плечами и сказала:

– Ну, посмотрим.

Последний раз я целовал ее на Пасху. В мой прошлый приезд в Соьер на летние каникулы мы целыми днями были на улице, и никто не вспомнил про «Кто последним пробежит через весь дом, тот целует Хестер». Я был почти уверен, что и на День благодарения мы не сыграем

в эту игру, потому что бабушка не позволит устраивать гонки в доме 80 на Центральной улице. Так что, подумал я, придется подождать до Рождества.

- Может, твой друг захочет поцеловать Хестер? – предположил Саймон.
- Я как-нибудь сама решу, с кем мне целоваться, – огрызнулась Хестер.
- Ого! – воскликнул Ной.
- Боюсь, Оуэн заробеет, – промямлил я.
- Думаешь, ему не захочется со мной целоваться? – спросила Хестер.
- Я просто хочу сказать, он может вас всех немножко стесняться, – сказал я.
- Тебе ведь нравится со мной целоваться, – сказала Хестер.
- Ничего подобного, – соврал я.
- Нравится, нравится, – повторила она.
- Ого! – снова воскликнул Ной.
- Ничем не остановишь Похотливую Самку! – сказал Саймон.
- Заткнись! – заорала Хестер.

Так было подготовлено явление Оуэна Мини.

На следующее утро после Дня благодарения мы играли на чердаке и подняли такой шум, что не слышали, как Оуэн Мини потихоньку поднялся по лестнице и открыл люк. Могу себе представить его соображения: по-видимому, он ждал, что его заметят и ему не придется объявлять о своем появлении, тогда, по крайней мере, знакомство начнется не с его голоса. С другой стороны, сам вид его – такого крошечного и странного – мог потрясти моих братьев и сестру ничуть не меньше. Оуэн, должно быть, раздумывал, каким способом лучше себя явить: либо заговорить, что всегда пугало людей, либо стоять и ждать, пока его увидят, что могло напугать кого угодно еще больше. Оуэн сказал мне потом, что просто стоял у люка, который он нарочно громко захлопнул за собой, надеясь хоть этим привлечь наше внимание. Но нам было не до люка.

Саймон жал что было сил на педаль швейной машинки, отчего очертания иголки и катушки совсем расплылись; тем временем Ной ухитрился незаметно подвинуть руку Хестер так близко к ныряющей иголке, что рукав ее блузки накрепко пришило к лоскуту, который она собиралась прострочить, и теперь ей ничего не оставалось, как снять с себя блузку – потому что Саймон вошел в раж и не думал останавливаться. Пока Оуэн наблюдал за нами, Ной методично угощал Саймона оплеухами, чтобы тот перестал нажимать на педаль, а Хестер, красная и злая, стояла в одной тенниске и вопила, что это ее единственная белая блузка, пытаюсь вытащить лиловую нитку, образовавшую на рукаве какой-то диковинный узор. А я все повторял, что если мы не уговоримся, то нам влетит от бабушки и снова придется выслушивать нотации насчет аукционной стоимости ее антикварной швейной машинки.

Все это время Оуэн Мини стоял у чердачного люка, наблюдая за нами, и делал мучительный выбор – набраться духа и наконец представиться или удрать домой, пока кто-нибудь из нас его не заметил. В эти минуты мои братья, пожалуй, превосходили самые худшие его опасения. Это просто поразительно, до чего Саймон любил быть битым; я в жизни не видел мальчишки, который бы в ответ на привычные побои старшего брата получал от них удовольствие. Точно так же, как он любил скатываться кубарем со снежной горы, любил разгоняться на лыжах и врезаться в деревья с такой силой, что в глазах темнело, любил, когда его сбрасывали с кучи опилок, – вот так же Саймон наслаждался затрещинами брата. Ною почти всегда приходилось лупить Саймона до крови, чтобы тот наконец запросил пощады, а когда доходило до крови, Саймон странным образом все равно выходил победителем: Ною ведь потом было стыдно. Сейчас Саймон, похоже, собрался раскрутить машинку так, чтобы она развалилась на части: он вцепился обеими руками в крышку стола, отчаянно зажмурил глаза, вобрал голову в плечи под градом Ноевых кулаков и бешено работал ногами, словно съезжая на велосипеде

с крутого холма на первой скорости. Ярость, с какой Ной колотил своего брата, могла ввести в заблуждение любого, кто наблюдал бы эту картину: откуда ему было знать, что вообще-то Ной отличался вполне мягким нравом и спокойным великодушием. Просто Ной усвоил, что битье Саймона – занятие, требующее терпения, осмотрительности и определенной стратегии: что толку в спешке пустить Саймону кровь из носа? Лучше бить аккуратно, чтобы и больно, но и не до крови, – в общем, чтобы как следует измотать брата.

Но самое большое впечатление на Оуэна, подозреваю, произвела Хестер. Увидев ее в тенниске, мало кто усомнился бы, что совсем скоро у нее будет потрясающая грудь; рано созревшие соски вырисовывались так же отчетливо, как и вполне мужские бицепсы. А то, как она вытаскивала зубами нитку из своей испорченной блузки – рыча и извергая проклятия, словно пытаясь разорвать эту блузку в клочья, – пожалуй, давало Оуэну полное представление об опасности, которую таил в себе ее рот. В эти минуты хищная природа Хестер проявилась во всей красе.

Естественно, мои попытки напомнить о неминуемом нагоняе от бабушки не только не встретили понимания – никто их попросту не услышал. Как и не увидел Оуэна Мини, который стоял, заложив руки назад, спиной к слуховому окну, и его ярко-розовые оттопыренные уши просвечивали на солнце – солнечные лучи были такими яркими, что казалось, это тонкие жилки в ушах Оуэна светятся изнутри. Ослепительное утреннее солнце освещало Оуэна сверху и чуть сзади, словно свет взял на себя миссию представить его нам. Раздосадованный, что мои братья не поддаются уговорам, я отвернулся от швейной машинки и тут увидел Оуэна. С заложенными за спину руками он казался безруким, как Ватахантауэт, и в этом слепящем свете солнца был похож на только что вынутого из печки глиняного гнома с еще не остывшими ушами. Я набрал в грудь побольше воздуха, но в эту самую секунду Хестер подняла свое перекошенное от злости лицо с повисшими на губах обрывками лиловой нитки и тоже увидела Оуэна. Она вскрикнула.

«Я вообще не сразу поняла, что это *человек*», – сказала она мне потом. После того дня, когда мои братья с сестрой впервые увидели Оуэна, я и сам часто стал задумываться: а человек ли Оуэн Мини? В слепящих лучах солнца, льющихся сквозь слуховое окно, он, без сомнения, был похож на сошедшего с небес ангела – этакое крошечное, но пламенное божество, посланное, чтобы судить нас за наши грехи.

Вскрикнув, Хестер так напугала Оуэна, что он в ответ тоже вскрикнул, – и они все не просто познакомились с его странным голосом, они окаменели, – так могла заорать разве что кошка, которую медленно переехал тяжелый грузовик. Они впали в полное оцепенение от макушек до самых пяток – шевелились разве что волосы на затылках. И откуда-то из глубин нашего огромного дома донесся бабушкин голос: «Силы небесные, снова этот мальчишка!»

Я все никак не мог собраться с духом, чтобы сказать наконец: «Это мой лучший друг – тот самый, о котором я вам говорил», потому что в жизни не видел, чтобы мои братья глазели на кого-нибудь с такими отвисшими челюстями – а у Хестер из разинутого рта еще и свисали обрывки лиловых ниток. Но Оуэн меня опередил:

– Я, КАЖЕТСЯ, ПОМЕШАЛ ВАМ, ХОТЯ Я НЕ ЗНАЮ, ВО ЧТО ВЫ ИГРАЛИ, – начал Оуэн. – МЕНЯ ЗОВУТ ОУЭН МИНИ, Я САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ ВАШЕГО БРАТА. НАВЕРНОЕ, ОН ВАМ ВСЕ ОБО МНЕ РАССКАЗАЛ. Я, КОНЕЧНО ЖЕ, МНОГО СЛЫШАЛ О ВАС. ТЫ, ДОЛЖНО БЫТЬ, НОЙ, САМЫЙ СТАРШИЙ, – сказал Оуэн и протянул Ную руку, которую тот молча пожал. – А ТЫ, КОНЕЧНО, САЙМОН, СРЕДНИЙ – НО ТЫ ТАКОЙ ЖЕ БОЛЬШОЙ, КАК ТВОЙ БРАТ, И, ПОЖАЛУЙ, ПОБУЙНЕЕ. ПРИВЕТ, САЙМОН, – продолжал Оуэн, протягивая руку Саймону, который весь взмок и тяжело дышал после своего бешеного заезда на швейной машинке, но все равно поспешно схватил Оуэна за руку и пожал ее. – А ТЫ, КОНЕЧНО ЖЕ, ХЕСТЕР, – сказал он, отведя взгляд. – Я МНОГО ПРО ТЕБЯ СЛЫШАЛ, И ТЫ ТАКАЯ ЖЕ КРАСИВАЯ, КАК Я И ДУМАЛ.

– Спасибо, – пробормотала Хестер, вытащив нитку изо рта и заправив тенниску в джинсы.

Они продолжали пялиться на Оуэна, и я, ожидая самого худшего, вдруг понял, что такое маленький городок. Это место, где вы рождаетесь и растете бок о бок со странным – и столько раз сталкиваетесь с ним, что в конце концов привыкаете к его необычности и своеобразию. Мои братья с сестрой хотя и выросли в маленьком городке, но ведь не в нашем; ведь не рядом с Оуэном Мини, – и он показался им до того странным, что привел в трепет, – притом что и набрасываться на Оуэна или придумывать для него изощренные издевательства им хотелось не больше, чем стаду коров гнаться за котенком. Озаренное ярким солнцем, лицо Оуэна пылало румянцем – запыхался, подумал я, пока добрался на своем велосипеде до города; да к тому же в эту пору с реки почти все время дует ледяной ветер – прямо в лицо, когда едешь с Мейден-Хилла. В тот год еще до Дня благодарения ударили такие холода, что заморозили пресноводную часть Скуамскотта, а дорога от Грейвсенда до Кенсингтон-Корнерз покрылась ледяной коркой.

– В ОБЩЕМ, Я ТУТ ДУМАЛ, ЧЕМ БЫ НАМ ЗАНЯТЬСЯ, – снова заговорил Оуэн, и мои буйные братья и сестра слушали его затаив дыхание. – РЕКА ЗАМЕРЗЛА, ТАК ЧТО СЕЙЧАС, НАВЕРНО, ЗДОРОВО КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ. Я ЗНАЮ, ВЫ ВЕДЬ ЛЮБИТЕ ВСЯКИЕ ТАКИЕ ИГРЫ, ГДЕ МНОГО ДВИЖЕНИЯ, ГДЕ СКОРОСТЬ И ОПАСНОСТЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НА УЛИЦЕ ХОЛОДНО. В ОБЩЕМ, МОЖНО ВЫБРАТЬ КОНЬКИ, – сказал он. – ПРАВДА, ХОТЯ РЕКА И ЗАМЕРЗЛА, Я УВЕРЕН, КОЕ-ГДЕ ТАМ ЕСТЬ ТРЕЩИНЫ, А МОЖЕТ БЫТЬ, ДАЖЕ ПОЛЫНЬИ – В ПРОШЛОМ ГОДУ Я В ОДНУ ТАКУЮ ПРОВАЛИЛСЯ. Я НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО КАТАЮСЬ НА КОНЬКАХ, НО С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОЙДУ С ВАМИ; ПРАВДА, Я НЕМНОГО ПРОСТУДИЛСЯ, ТАК ЧТО, НАВЕРНО, МНЕ НЕ СТОИТ СЛИШКОМ ДОЛГО ГУЛЯТЬ НА УЛИЦЕ В ТАКУЮ ПОГОДУ.

– Нет-нет! – сказала Хестер. – Если ты еще не совсем выздоровел, тебе лучше не ходить на улицу. Мы можем поиграть в доме. Совсем не обязательно сегодня кататься на коньках, тем более что мы и так катаемся чуть не каждый день.

– Да! – согласился Ной. – Если Оуэн простудился, лучше поиграем в доме.

– В доме лучше всего! – сказал Саймон. – Пусть Оуэн выздоровеет как следует.

Наверное, они почувствовали некоторое облегчение, узнав, что Оуэн «простудился»: они подумали, может быть, из-за этого у него такой страшный, завораживающий голос. Я мог бы, конечно, сказать им, что это вовсе не из-за простуды, – кстати, для меня было новостью, что Оуэн простудился, – но я тоже почувствовал облегчение, видя, как они, все трое, уважительно разговаривают с Оуэном, и у меня не было никакого желания портить впечатление, которое он на них произвел.

– НУ И ЛАДНО; Я ТОЖЕ ДУМАЮ, ЧТО ДОМА БУДЕТ ЛУЧШЕ ВСЕГО, – сказал Оуэн. – МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛКО, ЧТО Я НЕ МОГУ ПРИГЛАСИТЬ ВАС К СЕБЕ: У МЕНЯ В ДОМЕ НЕТ СОВЕРШЕННО НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО. МОЙ ОТЕЦ ЗАНИМАЕТСЯ ДОБЫЧЕЙ ГРАНИТА И ОЧЕНЬ СТРОГО ОТНОСИТСЯ К СВОЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ВООБЩЕ К КАРЬЕРАМ, ХОТЯ ОНИ И НА УЛИЦЕ. В ОБЩЕМ, У МЕНЯ ИГРАТЬ НЕ ОЧЕНЬ-ТО ИНТЕРЕСНО – ПОТОМУ ЧТО МОИ РОДИТЕЛИ НЕМНОГО СО СТРАННОСТЯМИ НАСЧЕТ ДЕТЕЙ.

– Ничего страшного! – выпалил Ной.

– Не переживай! – сказал Саймон. – Нам и в этом доме найдется чего делать.

– У всех родители со странностями! – поспешила утешить Хестер, но я так и не придумал, что сказать.

За все годы, что я знал Оуэна, вопрос о странностях его родителей – и не только «насчет детей» – мы с ним не обсуждали ни разу. Просто у нас в городе это всеми принималось как

данность, о которой говорить даже не стоит, а если и стоит, то разве что вскользь, или как бы в скобках, или только среди близких.

– В ОБЩЕМ, Я ТУТ ПОДУМАЛ, МЫ МОЖЕМ НАРЯДИТЬСЯ В ОДЕЖДУ ВАШЕГО ДЕДУШКИ – ТЫ ВЕДЬ РАССКАЗЫВАЛ ИМ ОБ ЭТОЙ ОДЕЖДЕ? – спросил меня Оуэн.

Но я не рассказывал. Я боялся, они подумают, что наряжаться в дедушкину одежду – это игра для маленьких или для ненормальных, а может, и то и другое. Или что они наверняка испортят все вещи, когда поймут, что просто переодеваться – это слишком спокойная игра, и все кончится тем, что они придумают какую-нибудь такую игру, где надо будет срывать друг с друга одежду, а кого разденут последним – тот и выиграл.

– Дедушкина одежда? – спросил Ной с неожиданным почтением в голосе.

Саймон вздрогнул; Хестер нервно снимала с себя обрывки лиловых ниток.

А Оуэн Мини, уже умудрившийся отхватить себе роль лидера, продолжал:

– В ОБЩЕМ, ЕСТЬ ЧУЛАН, В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ ЭТА ОДЕЖДА. ТАМ ВНУТРИ, В ТЕМНОТЕ, НАВЕРНОЕ, СТРАШНО. И МЫ МОГЛИ БЫ СЫГРАТЬ В ТАКУЮ ИГРУ, КОГДА ОДИН ИЗ НАС ТАМ СПРЯЧЕТСЯ, А ДРУГОЙ ДОЛЖЕН БУДЕТ НАЙТИ ТОГО, КТО СПРЯТАЛСЯ, – В ТЕМНОТЕ. НУ ВОТ, – подытожил Оуэн. – ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО.

– Точно! Прятки в темноте! – воскликнул Саймон.

– А я и не знала, что там хранится дедушкина одежда, – сказала Хестер.

– Как ты думаешь, в ней сидит привидение, а, Хестер? – спросил Ной.

– Заткнись! – ответила Хестер.

– Пусть Хестер спрячется там в темноте, – предложил Саймон, – а мы по очереди будем ее искать.

– Я не хочу, чтобы вы там по мне шарили своими лапами, – сказала Хестер.

– Ну, Хестер, нам же надо найти тебя раньше, чем ты найдешь нас, – сказал Ной.

– Нет, играем, кто первым дотронется! – выкрикнул Саймон.

– Если дотронешься до меня, я тебя дерну за *писун*, Саймон, – пригрозила Хестер.

– Во! – подскочил Ной. – Точно! Так и сыграем. Нужно успеть найти Хестер раньше, чем она дернет за *писун*.

– Похотливая Самка! – разумеется, снова не удержался Саймон.

– Только дайте мне время, чтобы я привыкла к темноте! – предупредила Хестер. – У меня должна быть фора! Мне дадут привыкнуть к темноте, а кто будет меня искать, пусть лезет в чулан сразу, чтобы не привыкал.

– ЗДЕСЬ ЕСТЬ ФОНАРИК, – взволнованно напомнил Оуэн. – МОЖЕТ, НАМ ЛУЧШЕ ИГРАТЬ С ФОНАРИКОМ? ПОТОМУ ЧТО ТАМ ВЕДЬ СОВСЕМ-СОВСЕМ ТЕМНО.

– Никаких фонариков! – запротестовала Хестер.

– Нет! – сказал Саймон. – Тому, кто полезет в чулан вслед за Хестер, мы сначала посветим фонариком в глаза – чтобы ослеп, чтобы он не привык к темноте, а совсем наоборот!

– Хорошая мысль! – подхватил Ной.

– Никто не лезет, пока я не спрячусь, – предупредила Хестер. – И пока я как следует не привыкну к темноте.

– Нет! – возразил Саймон. – Мы посчитаем до двадцати – и все.

– Нет, до ста! – сказала Хестер.

– До пятидесяти, – сказал Ной; на том и порешили.

Саймон начал считать и тут же получил от Хестер затрещину.

– Не начинай, пока я не залезу в чулан! – сказала она.

Направляясь в чулан, она должна была проскользнуть мимо Оуэна Мини, и, когда она поравнялась с ним, произошло нечто любопытное. Хестер остановилась и протянула к Оуэну руку – ее широкая лапа непривычно робко и нежно приблизилась к его лицу и ощупала его,

словно непосредственно вокруг Оуэна существовало какое-то невидимое магнитное поле, притягивающее руку всякого, кто проходит рядом. Хестер прикоснулась к нему и улыбнулась – маленькое личико Оуэна находилось как раз на уровне сосков ее рано созревшей груди, которые торчали из-под тенниски, как две пуговицы. Оуэн уже успел привыкнуть к тому, что людей тянет дотронуться до него, но сейчас он с легким испугом отстранился от ее прикосновения, хотя и не слишком резко, чтобы она не обиделась.

Затем Хестер скрылась в чулане, топоча и спотыкаясь о ряды башмаков, и мы слышали, как она зашуршала, пробираясь сквозь одежду, и скрипнули вешалки на металлических стержнях, и раздался звук, как если бы передвигали шляпные коробки на верхних полках, и один раз оттуда донеслось: «Ах ты, зараза!» – и в другой раз: «А это еще что?» Когда шум в чулане наконец затих, мы как следует посветили Саймону в глаза карманным фонариком. Саймон рвался в бой первым, и, когда мы вталкивали его в чулан, он был уже порядком ослеплен, – пожалуй, даже при свете дня ему было бы трудно ориентироваться. Но не успели мы закрыть за ним двери чулана, как услышали, что на него тут же напала Хестер; должно быть, она дернула его за *писун* немного сильнее, чем собиралась, потому что он тут же взвыл, причем явно от боли, а не от неожиданности, и через секунду вылетел из чулана со слезами и покатился по чердачному полу, согнувшись пополам и крепко держась за свои сокровища.

– Черт бы тебя побрал, Хестер! – воскликнул Ной. – Что ты с ним сделала?

– Я же не хотела, – раздался голос из темноты чулана.

– Это нечестно – хватать *писун вместе с яйцами!* – орал Саймон, все еще лежа на полу и не в силах разогнуться.

– Я же не хотела, – виновато повторила она.

– Сука ты! – сказал Саймон.

– А сам как царапаешь, Саймон! – оправдывалась Хестер.

– Да нельзя же цапать за *писун* и яйца! – сказал Ной.

Но Хестер не отвечала: мы слышали, как она снова зашуршала одеждой, готовясь к новой атаке, и тогда Ной прошептал нам с Оуэном, что, поскольку в чулане есть две двери, мы можем обхитрить Хестер и залезть через другую дверь.

– КТО ЭТО – *МЫ*? – прошептал Оуэн.

Ной молча показал на него пальцем, и я посветил фонариком в широко раскрытые, заматававшиеся глаза Оуэна, отчего на его лице появилось перепуганное выражение, как у загнанной в угол мыши.

– Нечестно дергать так *сильно*, учти, Хестер! – крикнул Ной, но Хестер ничего не ответила.

– ОНА ПРОСТО НЕ ХОЧЕТ ВЫДАВАТЬ, ГДЕ СПРЯТАЛАСЬ, – прошептал Оуэн, чтобы подбодрить себя.

Затем мы вместе с Ноем запустили Оуэна в другую дверь; чулан был Г-образной формы, и мы с Ноем прикинули, что, поскольку Оуэн вошел в короткий отрезок буквы Г, он не должен столкнуться с Хестер по крайней мере до поворота, если только ей не удастся неслышно перебраться в другое место, потому как она, конечно же, должна была спрятаться в длинном конце чулана.

– Нечестно влезать через другую дверь! – тут же выкрикнула Хестер, что, как решили мы с Ноем, дало Оуэну преимущество, поскольку она выдала – по крайней мере, приблизительно, – где находится.

Затем наступила тишина. Я знал, что сейчас делает Оуэн: ждет, пока его глаза привыкнут к темноте, прежде чем его обнаружит Хестер, и потому не торопится двигаться, не торопится искать ее, пока сам не сможет хоть что-нибудь разглядеть.

– Черт бы их побрал, что там происходит? – спросил Саймон, но в ответ не раздалось ни звука.

Потом мы расслышали, как кто-то наткнулся на один из сотен дедушкиных башмаков. И снова тишина... Потом снова еле слышный стук ботинка... Как я потом узнал, Оуэн полз на четвереньках, потому что все время ждал нападения с одной из широких верхних полок и здорово боялся этого. Откуда ему было знать, что Хестер уже давно лежала распластавшись на полу чулана, накрывшись одним из дедушкиных плащей и набросав поверх него побольше башмаков. Она оставалась совершенно неподвижной и почти незаметной – из-под плаща выглядывали только лицо и кисти рук. Однако, как выяснилось, она легла головой не в ту сторону – теперь, чтобы наблюдать за приближающимся Оуэном Мини, ей приходилось закатывать глаза ко лбу и смотреть на него снизу вверх сквозь густую шапку волос. И именно до этих растрепанных вьющихся волос первым делом дотронулся Оуэн, когда он наконец дополз на четвереньках до Хестер, и вдруг волосы зашевелились под его маленькими пальцами, а ее руки метнулись к нему и обхватили за талию.

К чести Хестер, у нее и в мыслях не было хватать Оуэна за *писун*, но, обнаружив, как легко держать его на весу за талию, она решила запустить руки ему под ребра и пощекотать. Она подумала, Оуэн должен здорово бояться щекотки – и не ошиблась. Вообще щекотка была жестом доброй воли – особенно для Хестер, – но после того, как Оуэн в темноте наткнулся рукой на ожившие волосы и его тут же начала щекотать эта девчонка, – по-видимому, единственно затем, чтобы потом схватить за *писун*, – мой друг не выдержал и обмочился.

Мгновенно поняв, какая катастрофа постигла Оуэна, Хестер до того растерялась, что выпустила его из рук. Оуэн упал на нее сверху, но тут же вырвался, выскочил из чулана, затем юркнул в чердачный люк и кубарем скатился по ступенькам. Он пробежал через дом к выходу так быстро и бесшумно, что его не заметила даже бабушка; и лишь моя мама, которая в это мгновение случайно выглянула из кухонного окна, увидела, как он в расстегнутой куртке, незашнурованных ботинках и надетой кое-как шапке, на пронизывающем ноябрьском ветру не без труда влезает на свой велосипед.

– Господи, Хестер! – снова воскликнул Ной. – Что ты ему сделала?

– Я знаю, что она ему сделала! – сказал Саймон.

– Ничего подобного, – простодушно ответила Хестер. – Я просто пощекотала его, а он надул в штаны.

Она сообщила об этом вовсе не затем, чтобы поднять Оуэна на смех, и – свидетельство глубокой внутренней порядочности моих братьев – эта новость не вызвала у них обычного приступа буйного веселья, которое ассоциировалось у меня с Сойером так же прочно, как и катание на лыжах и разнообразные стычки и потасовки.

– Надо же, бедолага, – сказал Саймон.

– Я же не хотела, – попыталась оправдаться Хестер.

Тут меня позвала мама, и пришлось идти и рассказывать ей, что случилось с Оуэном, после чего она заставила меня одеться потеплее, а сама пошла заводить машину. Я был уверен, что знаю, какой дорогой Оуэн поедет домой, однако, должно быть, он очень усердно крутил педали, потому что мы не настигли его, как я рассчитывал, у газового завода на Уотер-стрит, а когда мы проехали Дьюи-стрит, так и не увидев его, а потом не нашли его и на Салем-стрит, я предположил, что Оуэн, пожалуй, выехал из города по Суэйзи-Парквей. Итак, мы вернулись назад вдоль Скуамскотта, но его не было и там.

В конце концов мы нашли его – уже за городом. С трудом вращая педали, он взбирался по Мейден-Хиллу. Увидев издали его красную с черным шерстяную куртку и такую же красно-черную клетчатую кепку с торчащими в стороны ушами, мы стали потихоньку притормаживать; к тому времени, когда наша машина медленно поравнялась с ним, он уже совсем выдохся, слез с велосипеда и вел его рядом с собой. Он прекрасно знал, что это мы подъехали, но не оборачивался и продолжал идти – мама медленно вела машину сбоку от него, а я опустил оконное стекло.

– У МЕНЯ СЛУЧИЛАСЬ АВАРИЯ, Я ПРОСТО ПЕРЕВОЛНОВАЛСЯ, Я ВЫПИЛ ЗА ЗАВТРАКОМ СЛИШКОМ МНОГО АПЕЛЬСИНОВОГО СОКА – И ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ, Я НЕ ПЕРЕНОШУ ЩЕКOTКИ, – заговорил Оуэн. – МЫ НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ, ЧТО МОЖНО ЩЕКOTАТЬ.

– Пожалуйста, Оуэн, не уходи, – сказала мама.

– Все в порядке, – постарался я утешить его. – Они все жалеют, что так вышло.

– Я ОПИСАЛ ХЕСТЕР! – сказал Оуэн. – И ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ДОМА БУДУТ НЕПРИЯТНОСТИ. – Он продолжал вести свой велосипед, не сбавляя ходу. – ПАПА ИЗ СЕБЯ ВЫХОДИТ, КОГДА Я ПИСАЮСЬ. ОН ГОВОРIT, ЧТО Я УЖЕ НЕ МАЛЕНЬКИЙ. НО Я ЖЕ НЕ ВИНОВАТ, ЧТО ИНОГДА СЛИШКОМ ВОЛНУЮСЬ.

– Оуэн, я выстираю и высушу твою одежду у нас дома, – уговаривала его моя мама. – А пока она будет сохнуть, ты можешь надеть что-нибудь из вещей Джонни.

– ИЗ ВЕЩЕЙ ДЖОННИ МНЕ НИЧЕГО НЕ ПОДОЙДЕТ, – возразил Оуэн. – А ЕЩЕ МНЕ НУЖНО В ВАННУ.

– Ты можешь принять ванну у нас, Оуэн, – сказал я. – Ну, пожалуйста, вернись!

– У меня есть кое-какие вещи, из которых Джонни уже вырос. Они тебе будут впору, Оуэн, – не отступала мама.

– НА ГРУДНОГО РЕБЕНКА, НАВЕРНОЕ, ДА? – с недоверием спросил Оуэн, однако остановился, горестно склонив голову на руль.

– Ну пожалуйста, Оуэн, садись в машину, – сказала мама.

Я вылез и помог ему загрузить велосипед в багажник, после чего он юркнул на переднее сиденье между мамой и мной.

– Я ХОТЕЛ ПРОИЗВЕСТИ ХОРОШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО Я МЕЧТАЛ ПОЕХАТЬ В СОЙЕР, – признался он. – А ТЕПЕРЬ ВЫ НИКОГДА МЕНЯ С СОБОЙ НЕ ВОЗЬМЕТЕ.

Мне показалось совершенно невыносимым, что он все еще хочет туда поехать, но тем временем мама сказала:

– Оуэн, ты можешь поехать с нами в Сойер когда угодно.

– А ВОТ ДЖОННИ НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ Я ЕХАЛ, – поведал он маме так, будто меня в машине вообще не было.

– Да нет, Оуэн, – сказал я. – Просто мне казалось, мои двоюродные братья и сестра – это для тебя чересчур. – И теперь, после того, как он обмочился, я подумал, хотя и не сказал вслух, что был-таки прав. – Для них это еще очень спокойная игра, Оуэн, – добавил я.

– ТЫ ДУМАЕШЬ, МЕНЯ ВОЛНУЕТ, ЧТО ОНИ МОГУТ МНЕ СДЕЛАТЬ? – закричал он и топнул своей крошечной ножкой по выступу для карданного вала. – ДУМАЕШЬ, Я БОЮСЬ, ЧТО ОНИ НАЧНУТ НАДО МНОЙ ИЗДЕВАТЬСЯ? – завопил он пуще прежнего. – Я ЖЕ И ТАК НИГДЕ НЕ БЫВАЮ! ЕСЛИ БЫ Я НЕ ХОДИЛ В ШКОЛУ, ИЛИ В ЦЕРКОВЬ, ИЛИ К ВАМ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ, Я БЫ ВООБЩЕ НИКУДА НЕ ВЫХОДИЛ ИЗ ДОМУ! – орал он уже вне себя. – А ЕСЛИ БЫ ТВОЯ МАМА НЕ БРАЛА МЕНЯ ИНОГДА НА ПЛЯЖ, Я БЫ НИКОГДА НЕ ВЫБРАЛСЯ ИЗ ГОРОДА! И Я ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ БЫЛ В ГОРАХ, – сказал он. – Я ДАЖЕ НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ КАТАЛСЯ НА ПОЕЗДЕ! ДУМАЕШЬ, МНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОЕХАТЬ НА ПОЕЗДЕ В ГОРЫ? – снова завопил он.

Мама остановила машину, обняла и поцеловала Оуэна и еще раз сказала, что он всегда может ездить с нами куда захочет; и я довольно неуклюже положил ему руку на плечо, и мы сидели так, пока он не успокоился настолько, что можно было возвращаться в дом 80 на Центральной улице. Он вошел в дом с заднего хода, прошел мимо комнаты Лидии и горничных, возившихся на кухне, поднялся по задней лестнице мимо комнаты для прислуги в мою ванную. Там он закрылся и набрал полную ванну воды. Перед этим он отдал мне свою мокрую одежду, и я отнес ее горничным, которые тут же принялись ее стирать. Потом мама постучалась к нему

и, отвернувшись, просунула в щель руку со стопкой одежды, из которой я давно вырос, – это не были вещи на грудного ребенка, как опасался Оуэн; просто они были очень маленькими.

– Что мы теперь будем с ним делать? – спросила Хестер.

Мы все ждали, пока Оуэн присоединится к нам в каморке наверху, – по крайней мере, именно так называли эту комнатенку, когда еще был жив дедушка. Теперь всякий раз, когда к нам приезжали Истмэны, она служила детской.

– Будем делать, что ему захочется, – сказал Ной.

– Мы это уже делали в прошлый раз! – подал голос Саймон.

– Не совсем, – пробормотала Хестер.

– НУ ВОТ, Я ТУТ ПОДУМАЛ, – сказал Оуэн, появившись в дверях «каморки», – еще розовее, чем всегда, с зачесанными назад мокрыми волосами, он казался в буквальном смысле ослепительно-чистым. Разутый, в одних гольфах, Оуэн слегка скользил по деревянному полу; ступив на старый восточный ковер, он остановился, поставил одну ногу на другую и, смущенно покачиваясь и переминаясь и время от времени взмахивая руками, как бабочка, заговорил: – Я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ТО, ЧТО ТАК ПЕРЕВОЛНОВАЛСЯ. МНЕ КАЖЕТСЯ, Я ЗНАЮ ИГРУ, КОТОРАЯ НЕ БУДЕТ НА МЕНЯ ТАК СИЛЬНО ДЕЙСТВОВАТЬ. И ВАМ, Я НАДЕЮСЬ, НЕ БУДЕТ СКУЧНО, – сказал он. – ВОТ СМОТРИТЕ: КТО-НИБУДЬ ИЗ ВАС СПРЯЧЕТ МЕНЯ – КУДА УГОДНО, ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЕ МЕСТО, – А ОСТАЛЬНЫЕ ДОЛЖНЫ БУДУТ НАЙТИ. И КТО ПРИДУМАЕТ ТАКОЕ МЕСТО, ЧТО МЕНЯ ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ ДОЛЬШЕ ВСЕГО, – ТОТ И ВЫИГРАЛ. ВЕДЬ ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО НАЙТИ, КУДА МЕНЯ МОЖНО СПРЯТАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ДОМ ГРОМАДНЫЙ, А Я МАЛЕНЬКИЙ, – добавил Оуэн.

– Чур, я первая, – крикнула Хестер. – Я первая буду его прятать!

Никто не стал спорить, однако потом мы так и не смогли найти, куда она его спрятала. И Ной с Саймоном, да и я сам – все мы думали, что это будет легко: я ведь знал в бабушкином доме каждый уголок, а Ной с Саймоном знали почти все, на что был способен дьявольский ум Хестер. И однако же мы так и не нашли его. Хестер растянулась на диване в «каморке», просматривая старые номера журнала «Лайф», и чем дольше мы искали, тем невозмутимее она делалась. Тем временем наступили сумерки, и я даже высказал ей свои опасения, мол, не заснула ли она его куда-нибудь, где он может задохнуться, или – спустя еще пару часов – не затекли у него от неудобной позы руки и ноги, а может быть, уже начались судороги. Но в ответ на все мои беспокойства Хестер лишь молча отмахивалась, и, когда вышли все мыслимые сроки, нам ничего не оставалось, как сдаться. Тогда Хестер заставила нас спуститься в главный холл и подождать, после чего куда-то ушла и привела безмерно счастливого Оуэна, который шагал без всяких признаков хромоты и дышал совершенно свободно – только волосы слегка примялись, как если бы он спал. Он остался с нами ужинать, а после того, как мы поели, признался, что не прочь переночевать у нас, – мама предложила ему остаться, потому что, сказала она, его одежда еще не совсем высохла.

Но как я ни просил его признаться: «Где она тебя прятала? Ну хоть намекни! Ну скажи хотя бы, в какой части дома? Ну хоть на каком этаже?» – он так и не открыл мне свою тайну. Оуэн был не по-вечернему оживлен, спать, похоже, вообще не собирался, а вместо этого пустился довольно занудно философствовать насчет истинного характера моих братьев и сестры, которых, по его словам, я описывал ему совершенно неверно.

– ТЫ ПРОСТО НЕПРАВИЛЬНО К НИМ ОТНОСИШЬСЯ, – поучал он меня. – НАВЕРНОЕ, ВСЕ ЭТО ИХ, КАК ТЫ НАЗЫВАЕШЬ, БУЙСТВО ОТТОГО, ЧТО ИХ НИКТО НЕ НАПРАВЛЯЕТ. ТЫ ПОЙМИ, КОГДА ВМЕСТЕ СОБИРАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, НАДО, ЧТОБЫ ИХ КТО-НИБУДЬ НАПРАВЛЯЛ.

А я лежал и думал: ну, погоди, вот приедем в Соьер, поставят они тебя на лыжи и спустят с горы, – может, хоть тогда заткнешься. Не направляет их никто, надо же! Но остановить его

сейчас не было никакой возможности, он болтал и болтал, пока у меня не стали слипаться глаза. Я уже давно повернулся к нему спиной и потому не сразу понял, о чем он меня спрашивает:

– ТРУДНО БЕЗ НЕГО ЗАСНУТЬ, КОГДА УЖЕ ПРИВЫК, ПРАВДА?

– Без чего? – встрепнулся я. – К чему это ты привык, Оуэн?

– К БРОНЕНОСЦУ, – ответил он.

С того дня, когда Оуэн познакомился с Истмэнами, у меня в памяти осталось два разных и очень ярких образа Оуэна Мини – оба они стояли у меня перед глазами ночью после того, как маму убило бейсбольным мячом. Я пытался уснуть и не мог. Я лежал в постели и твердо знал, что Оуэн тоже сейчас думает о моей маме, знал, что он думает не только обо мне, но и о Дэне Нидэме и о том, как мы оба будем жить без нее, а если Оуэн думает о Дэне, значит, он не может не думать и о броненосце.

И другая картинка: когда мы с мамой догоняли Оуэна на машине и я видел издали его дергающуюся фигурку, видел, как он изо всех сил жмет на педали и пытается въехать на Мейден-Хилл; и как он потом выдохся и ему пришлось слезть с велосипеда и вести его рядом с собой остаток пути, – то впечатление создал зыбкий образ того, как, должно быть, выглядел Оуэн теплым летним вечером, когда, выбиваясь из сил, в прилипшем к спине бейсбольным свитере, он ехал домой после злополучного матча. Что-то он скажет родителям о прошедшей игре?

Многие годы уйдут у меня на то, чтобы вспомнить, как я принимал решение, где мне ночевать после той роковой игры – в квартире Дэна Нидэма, куда мы с мамой переехали, когда они поженились (это была преподавательская квартира в одном из общежитий Академии), или мне все-таки лучше провести эту ужасную ночь в моей бывшей комнате в бабушкином доме 80 на Центральной улице. А сколько лет у меня уйдет, чтобы вспомнить все другие подробности того дня!

Как бы там ни было, Дэн Нидэм с бабушкой решили, что мне лучше переночевать в доме на Центральной улице, и я, проснувшись после почти бессонной ночи, лишь постепенно сообразил, что сон, в котором Оуэн Мини убил мою маму бейсбольным мячом, – это не сон, и растерялся, не понимая, где нахожусь. Так в фантастическом романе пробуждается путешественник, случайно забредший в прошлое, – я ведь уже успел привыкнуть просыпаться в своей комнате в квартире Дэна Нидэма.

Однако, словно всего этого было недостаточно, снаружи вдруг послышался шум, который у меня прежде никогда не ассоциировался с домом на Центральной улице; этот шум доносился с нашей подъездной аллеи, а так как окна моей спальни не выходили на подъездную аллею, мне пришлось вылезти из постели и перейти в другую комнату, чтобы узнать, в чем дело. В общем-то, я и так знал. Я много раз слышал этот шум в гранитном карьере Мини; так гудит на малой скорости только огромный тягач с платформой – на нем мистер Мини перевозил гранитные плиты, бордюрные и краеугольные камни и могильные памятники. И точно: по подъездной аллее бабушкиного дома, занимая всю ее ширину, двигался грузовик «Гранитной компании Мини», груженный гранитными плитами и надгробиями.

Легко вообразить возмущение бабушки, если она уже встала и увидела этот грузовик. Я будто наяву слышал: «Какая же все-таки бестактность! Не прошло и суток, как умерла моя дочь, и что же он делает – привозит нам могильную плиту? Не удивлюсь, если он уже выбил на ней ее имя!» Сам я именно так и подумал.

Но мистер Мини не стал вылезать из кабины своего грузовика. Вместо этого с другой стороны выскочил Оуэн; он направился к платформе и снял с нее несколько больших картонных коробок, стоявших между гранитными плитами; ясное дело, в коробках лежал не гранит – раз Оуэн смог поднять их. Он отнес их к заднему крыльцу, и я уже ждал, что вот-вот раздастся звонок в дверь. У меня в ушах до сих пор стояло его «ПРОСТИ, Я НЕ ХОТЕЛ!», когда голова моя была закутана спортивной курткой мистера Чикеринга, и как мне ни хотелось сей-

час видеть Оуэна, я знал, что разревусь в три ручья, стоит только одному из нас заговорить. И потому я почувствовал неимоверное облегчение, когда понял, что Оуэн не будет звонить в дверь: оставив коробки на крыльце, он бегом вернулся в кабину, и мистер Мини медленно, все на той же первой скорости, выехал на улицу.

В картонных коробках лежали бейсбольные карточки Оуэна – вся его коллекция. Бабушку это ужаснуло, но она еще долго не понимала Оуэна и никак не могла оценить его по достоинству; для нее это был «тот самый мальчишка», или «тот малыш», или просто «тот самый голос». Я знал, что бейсбольные карточки были самым дорогим для Оуэна, чем-то вроде сокровища, – и я тут же понял, как для него изменилось все связанное с бейсболом, впрочем, как и для меня (хотя я и прежде не любил этой игры так, как любил ее Оуэн). Мне было незачем спрашивать его, я знал: ни он, ни я уже никогда не будем играть в Малой лиге и нам обоим предстоит некий обязательный ритуал – мы должны будем выбросить все наши биты, доспехи и мячи, в том числе и те, что затерялись на лужайках возле наших домов (кроме, конечно, *того* мяча, которому, как я подозревал, Оуэн придал статус реликвии).

Но об этих карточках мне нужно было поговорить с Дэном Нидэмом, ведь они были главным сокровищем Оуэна – по сути, единственным, – а коль скоро бейсбол означал теперь смерть мамы, то чего ради Оуэн отдает мне свои бейсбольные карточки? Может, он просто хочет показать, что умывает руки и отныне больше не участвует в великой американской забаве, или он хочет смягчить мое горе, позволив мне в утешение сжечь эти карточки? В тот день, пожалуй, это и впрямь могло доставить мне удовольствие.

– Он хочет, чтобы ты вернул ему эти карточки, – сказал мне Дэн Нидэм.

Я с самого начала знал, что мама нашла себе классного парня, но лишь на следующий день после ее смерти я понял, какой он умница. Ну конечно, именно этого и ждал от меня Оуэн: он отдал мне свои карточки, чтобы показать, как он жалеет о том, что случилось, и как ему плохо – Оуэн ведь любил мою маму почти так же сильно, как я, в этом не было никаких сомнений; и, отдавая мне все свои карточки, он хотел сказать, что любит меня настолько, что готов доверить мне всю свою знаменитую коллекцию. И все же, естественно, он хочет, чтобы я вернул ее ему!

– Вот давай посмотрим несколько штук, – предложил Дэн Нидэм. – Готов спорить, они сложены в определенном порядке – даже в этих коробках.

Так оно и оказалось; правда, мы с Дэном не сумели понять до конца, по какому принципу Оуэн их разложил, но там была, несомненно, очень продуманная система: например, в алфавитном порядке лежали карточки игроков, но бэттеры – я имею в виду знаменитых бэттеров – лежали, тоже по алфавиту, в отдельной пачке; полевые игроки, имеющие неофициальный титул «золотая перчатка», составляли особую группу; точно так же и собранные вместе питчеры. Кажется, там были даже группы по возрасту, но мы с Дэном не смогли долго разглядывать эти карточки – чуть ли не у каждого второго игрока, что улыбался в камеру, на плече покоилась смертоносная бита.

Сегодня я знаю многих, кто инстинктивно вздрагивает и съеживается при любом звуке, хоть сколько-нибудь напоминающем выстрел или взрыв бомбы, – будь то хлопок глушителя, или стук метлы или лопаты, упавшей на бетонный пол, или фейерверк, устроенный мальчишками в пустом мусорном баке, – и эти мои знакомые сразу закрывают голову руками, готовые (как и все мы сегодня) к теракту или нападению маньяка-одиночки. Но ни меня, ни тем более Оуэна Мини эти звуки нисколько не трогали. Из-за одной неудачно сыгранной бейсбольной партии, из-за одной неловко – и очень необычно – выполненной подачи, из-за какого-то паршивого промаха, одного из миллиона других, мы с Оуэном Мини были обречены всю жизнь вздрагивать от звука совершенно иного рода: от этого всеми любимого, самого американского, самого летнего звука – старого доброго удара биты по бейсбольному мячу!

Итак, я воспользовался советом Дэна Нидэма, что вообще буду потом делать довольно часто. Мы погрузили коробки с бейсбольными карточками Оуэна в машину и стали думать, в какое время лучше подъехать к гранитному карьеру, не привлекая внимания – чтобы не нужно было приветствовать мистера Мини и не беспокоить мрачный профиль миссис Мини в окне и чтобы нам не пришлось разговаривать с Оуэном. Дэн прекрасно понимал, что я люблю Оуэна и хочу с ним поговорить – больше, чем с кем бы то ни было, – но с этим разговором надо повременить: так будет лучше и мне, и Оуэну. Но еще до того, как мы уложили все картонные коробки в машину, Дэн Нидэм спросил меня:

– А что ты ему подаришь?

– Что? – не понял я.

– Чтобы показать, что ты любишь его, – пояснил Дэн. – Он ведь это хотел тебе показать. Что бы ты мог ему подарить?

Я, конечно, знал, что можно отдать Оуэну, чтобы он понял, как я люблю его; я знал, что для него значит мой броненосец, но мне было не совсем ловко дарить Оуэну броненосца на глазах у Дэна Нидэма, который когда-то подарил его мне. И потом: вдруг Оуэн мне его не вернет? Сам-то я лишь с помощью Дэна понял, что мне следует вернуть эти чертовы карточки. Вдруг Оуэн решит, что может оставить броненосца у себя?

– Самое главное, Джонни, – сказал Дэн Нидэм, – ты должен показать Оуэну, что любишь его так, что можешь доверить ему все, – не важно, получишь ты это обратно или нет. Надо, чтобы он знал: с этой вещью тебе жалко расстаться. В этом-то вся суть.

– Ну, предположим, я дам ему броненосца, – сказал я. – А вдруг он оставит его у себя?

Дэн Нидэм сел на передний бампер машины. Это был ярко-зеленый «бьюик»-универсал с настоящими деревянными панелями сзади и по бокам, с хромированной радиаторной решеткой, похожей на разинутую пасть какой-то хищной рыбы. Дэн сидел так, что казалось, эта пасть вот-вот проглотит его, и вид у него был такой изможденный, что, судя по всему, он не стал бы сопротивляться. Я не сомневался, что Дэн проплакал всю ночь, как и я, – но, в отличие от меня, он наверняка всю ночь еще и пил. Выглядел он ужасно. Но ответил мне очень терпеливо и осторожно:

– Джонни, мне будет очень приятно, если мой подарок послужит чему-то важному, а если ему выпадет особое предназначение, я буду только рад.

Тогда я впервые задумался о том, что некоторые события или определенные вещи могут быть «важными» или иметь «особое предназначение». До сих пор идея о том, что все на свете имеет смысл, не говоря уже об особом предназначении, казалась мне бредом сумасшедшего. Тогда я не был, что называется, верующим, а сейчас я верую; я верю в Бога, верю в то, что некоторые события и определенные вещи имеют «особое предназначение». Я соблюдаю все церковные праздники, которые только самые старомодные англиканцы называют «красными днями». Совсем недавно был такой «красный день», когда у меня был повод подумать об Оуэне Мини, – 25 января 1987 года. Об Оуэне мне напомнили чтения из Библии, приуроченные ко Дню святого апостола Павла. Господь говорит Иеремии:

Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя.

Но Иеремия отвечает, что он не умеет говорить, ибо «еще молод». И тогда Господь развивает его сомнения насчет этого. Господь говорит:

...не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь.

Не бойся их; ибо Я с тобою, чтоб избавлять тебя, сказал Господь.

Затем Господь касается уст Иеремии и говорит:

...вот, Я вложил слова Мои в уста твои.

Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтоб искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать.

Да, именно в «красные дни» я особенно много думаю об Оуэне; иногда он у меня просто из головы не идет – вот тогда-то я и пропускаю воскресную службу, бывает, и не одну, а еще стараюсь не притрагиваться некоторое время к своему молитвеннику. Мне кажется, обращение святого Павла действует на новообращенных вроде меня особым образом.

Да и как я могу не думать об Оуэне, читая Послание Павла к галатам, то место, где Павел говорит: «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, – и прославляли за меня Бога»?

Как знакомо мне это чувство! Я верую в Бога благодаря Оуэну Мини.

Дэну Нидэму я верил и отдал Оуэну броненосца. Я положил его в коричневый бумажный пакет, который вложил в другой точно такой же; я не сомневался, Оуэн поймет, что лежит там внутри, еще прежде, чем откроет пакеты, однако я на минуту представил себе, как перепугается его мать, если вдруг заглянет в них первой, но потом рассудил, что, в конце концов, это не ее дело.

Нам с Оуэном было всего одиннадцать; мы еще не умели по-другому выразить наши чувства после того, что произошло с мамой. Он отдал мне свои бейсбольные карточки, но хотел, чтобы я их ему вернул; а я отдал ему свое чучело броненосца, которое определенно рассчитывал получить обратно, – и все из-за полной невозможности высказать друг другу, что мы на самом деле чувствуем. Каково это – с такой невероятной силой ударить по мячу, а потом осознать, что этот мяч убил маму твоего лучшего друга? Каково это – видеть маму, неловко распластавшуюся на траве, и слышать, как придурковатый полицейский инспектор жалуется, что не может найти дурацкий бейсбольный мяч, называя его «орудием убийства»? *Говорить* о таких вещах мы с Оуэном не могли – по крайней мере тогда. Потому-то мы и обменялись друг с другом самым дорогим, что имели, в надежде, что оно к нам вернется. Если подумать, не так уж все это и глупо.

Оуэн возвратил броненосца на день позже, чем я рассчитывал: он продержал его у себя ночь, следующий день и еще ночь – на целую ночь дольше, чем следовало бы. Но все же вернул его. Снова услышал я рев приближающегося на самой малой скорости грузовика-тягача; снова рано утром, прежде чем приступить к своей нелегкой работе, мистер Мини подъехал к дому номер 80 на Центральной улице. Коричневые пакеты появились на крыльце у задней двери; я подумал, что небезопасно оставлять броненосца на ступеньках, учитывая неразборчивость в еде пресловутого лабрадора, принадлежавшего нашему соседу мистеру Фишу. Потом я вспомнил, что Сагамора уже нет в живых.

Но вслед за этим я испытал сильнейшее негодование: у броненосца на передних лапах не было когтей – самой важной и впечатляющей части его причудливого тела! Оуэн вернул броненосца, но оставил у себя его когти! Н-да, дружба, конечно, одно дело, но броненосец – совсем другое. Я был до того возмущен, что пришлось советоваться с Дэном Нидэмом. Дэн, как всегда, был готов немедленно меня выслушать. Он присел на краешек моей кровати, пока я, размазывая сопли и слезы, рассказывал ему о своей беде: без передних когтей броненосец больше не мог стоять прямо – он валился вперед, утыкаясь рыльцем в землю. Как бы я его ни ставил, несчастное создание принимало позу молящегося – не говоря уж о том, что оно

превратилось в жалкого калеку. Я был потрясен тем, как со мной обошелся мой лучший друг, но Дэн Нидэм мне объяснил: Оуэн Мини этим выразил свое ощущение того, что он сделал со мной, да и с собой тоже: ведь происшедшее навеки искалечило и исковеркало нас обоих.

– Твой друг невероятно оригинален, – сказал Дэн Нидэм с неподдельным уважением в голосе. – Неужели ты не видишь, Джонни? Если бы он мог, он бы отрубил себе руки ради тебя – вот что он чувствует после того, как взял ими ту битую и ударил ею по мячу. И это чувствуем все мы – и ты, и я, и Оуэн. Мы потеряли часть самих себя.

С этими словами Дэн взял изуродованного броненосца и начал экспериментировать с ним на моем ночном столике, пытаясь, как я уже пытался чуть раньше, найти для него такое положение, в котором он мог бы стоять или хотя бы лежать с мало-мальским удобством или достоинством, – но все тщетно. Бедное животное было изувечено окончательно, оно сделалось инвалидом. И куда Оуэн пристроил эти когти? Что за ужасный запрестольный образ он соорудил? Может, они теперь обхватывают смертоносный бейсбольный мяч?

Стараясь придать броненосцу более или менее приемлемый вид, мы с Дэном порядком разволновались, но в том-то все и дело, пришел к заключению Дэн: никакой приемлемости быть уже не может. Того, что случилось, принять невозможно! И с этим отныне придется жить.

– Как умно! Нет, в самом деле, это совершенно оригинально, – все бормотал и бормотал Дэн, пока не уснул на второй кровати в моей комнате, на которой столько раз спал Оуэн. Я укрыл его: пусть спит. Когда бабушка пришла поцеловать меня и пожелать спокойной ночи, она поцеловала и Дэна. Потом при слабом свете ночника я обнаружил, что если чуть выдвинуть верхний ящик ночного столика, то броненосца поставить можно туда так, чтобы он казался чем-то совсем иным. Выглядывая из ящика наполовину, броненосец походил на некоего морского обитателя, у которого есть только голова да туловище; я представлял себе, что на том месте, где раньше были когти, теперь пробиваются еле заметные лапы.

Уже почти уснув, я вдруг понял: все, что Дэн говорил о намерениях Оуэна, верно. Как же много значило в моей жизни, что Дэн Нидэм почти никогда не ошибался! С уолловской «Историей Грейвсенда» я как следует познакомился только в восемнадцать лет, когда сам прочел ее целиком; однако те места, которые Оуэн Мини считал «важными», были знакомы мне гораздо раньше. Засыпая, я вспомнил все, что сказал мне Дэн Нидэм, и вдруг понял сущность своего нынешнего броненосца. Ведь Оуэн отнял у него когти, чтобы он стал похож на тотем Ватахантауэта, на трагического и загадочного безрукого человека, – и хватило же индейцам мудрости понимать, что все одухотворено и у всего есть собственная душа!

Именно Оуэн Мини сказал мне однажды, что только белый человек со своим самомнением мог подумать, будто лишь у людей есть душа. По словам Оуэна, Ватахантауэту было виднее. Ватахантауэт верил, что и у животных есть душа, и даже у замызганной и измученной реки Скуамскотт – и у той есть своя душа; Ватахантауэт знал, что земля, которую он продал моим предкам, просто-таки кишела разными духами. Камни и скалы, которые белый человек вынужден был убрать, чтобы расчистить место для полей, стали навечно потерявшими покой духами. Были духи деревьев, их белый человек срубил, чтобы построить себе жилище, – в этих домах поселились другие духи взамен тех, что отлетели прочь от этих домов, как дым от горящих дров. Ватахантауэт, возможно, стал последним жителем Грейвсенда в штате Нью-Гэмпшир, понимавшим настоящую цену всего сущего. Пожалуйста, берите мою землю! И руки мои вместе с ней!

У меня уйдет много лет на то, чтобы постичь все, о чем думал Оуэн Мини, – в ту ночь я не слишком хорошо понимал его. Сейчас я знаю, что броненосец поведал мне все, о чем думал Оуэн Мини, хотя сам Оуэн рассказал мне это, когда мы уже учились в Грейвсендской академии. Лишь тогда я понял, что Оуэн Мини уже давно передал мне свои мысли – с помощью броненосца. Вот что говорил мне Оуэн (и броненосец): «БОГ ВЗЯЛ ТВОЮ МАМУ. МОИ

РУКИ СТАЛИ ОРУДИЕМ ЭТОГО. БОГ ВЗЯЛ МОИ РУКИ. ТЕПЕРЬ Я – ОРУДИЕ В РУКАХ БОЖЬИХ».

Ну разве могло мне прийти в голову, что одиннадцатилетний мальчишка может рассуждать подобным образом? Меньше всего мог я подумать, будто Оуэн Мини – Избранный, – даже то, что Оуэн считает себя одним из Призванных, сильно удивило бы меня. Увидев его в воздухе над нашими головами в воскресной школе, вы бы нипочем не догадались, что он в этот момент выполняет Божье Веление. К тому же вспомните – вынесем Оуэна за скобки, – в одиннадцать лет я вообще не верил ни в каких-то «Избранных», ни в то, что Господь «призывает» кого-то для исполнения своей воли или раздает кому-то «Веления». Что до веры Оуэна, будто он – «орудие в руках Божьих», то я не знал о других свидетельствах, на которых зиждется его убежденность в своей особой миссии. Ибо уверенность Оуэна, что Господь неким образом предопределяет каждый его шаг, происходила из большего, нежели один-единственный неудачный удар бейсбольной битой. Вы еще убедитесь в этом.

Сегодня, 30 января 1987 года, в Торонто идет снег; по мнению моей собаки, во время снегопада Торонто меняется к лучшему. Я люблю выгуливать пса, когда идет снег, – меня заражает бурный собачий восторг. Он всегда бежит устанавливать свои территориальные права на водохранилище Сент-Клэр; дурачок, думает, наверное, что первым из всех собак решил здесь облегчиться, – заблуждение простительное благодаря девственно-чистому снегу, покрывающему мириады собачьих какашек, которыми славятся окрестности водохранилища.

Во время снегопада часовая башня Верхнеканадского колледжа² кажется башенкой над зданием подготовительной школы в каком-нибудь городке Новой Англии. Когда снег не идет, машин и автобусов на прилегающих улочках становится больше, и гудят они громче, и центр Торонто делается ближе. А в снегопад часовая башня Верхнеканадского колледжа – особенно со стороны Килбарри-роуд или ближе, с Фрайбрук-роуд, – напоминает мне часовую башню главного здания Грейвсендской академии, элегантную и угрюмую.

Когда идет снег, в облике улицы Рассел-Хилл-роуд, на которой я живу, появляется что-то новоанглийское; вообще-то в Торонто не в чести белые деревянные дома с темно-зелеными или черными ставнями, но ведь дом моей бабушки на Центральной улице построен из кирпича – и в Торонто тоже предпочитают кирпич и камень. Жители Торонто питают необъяснимую склонность украшать свои каменные и кирпичные дома, а особенно – наличники, и на ставнях они вырезают всякие там сердечки и кленовые листья, но снег все равно скрывает все эти финтифлюшки. А в некоторые дни, такие как сегодня, когда снег падает влажный и тяжелый, белыми становятся даже кирпичные дома. Торонто – город сдержанный, но не строгий; Грейвсенд – строгий, но вместе с тем нарядный; Торонто нарядным вряд ли назовешь, но, покрытый снегом, он чем-то напоминает Грейвсенд – и тогда становится одновременно и нарядным и строгим.

Из окна моей спальни на Рассел-Хилл-роуд мне видны и церковь Благодати Господней на Холме, и капелла школы епископа Строна³. Как это знаменательно: человек, чье детство делили между собой две разные церкви, проживает свою взрослую жизнь с видом на еще две! Но сейчас меня это вполне устраивает: обе церкви – англиканские. Холодные серые камни церкви Благодати Господней и школы епископа Строна под снегом тоже выглядят не так мрачно.

Моя бабушка любила говорить, что снег «исцеляет» – что он способен исцелить все на свете. Точка зрения, типичная для янки: если выпало много снега, тебе от этого должно быть хорошо. В Торонто мне от этого хорошо. Как и ребятишкам, что катаются на санках у водохранилища Сент-Клэр; они тоже наводят меня на мысли об Оуэне, – наверное, потому, что в

² Старейшая в Канаде частная школа для мальчиков.

³ Старейшая в Канаде частная школа для девочек. Названа в честь Джона Строна (1778–1867), первого епископа Торонто.

моей памяти он остался одиннадцатилетним, а в свои одиннадцать он был ростом с пятилетнего ребенка. Но мне, пожалуй, не следует чересчур доверяться снегу; слишком многое напоминает мне об Оуэне.

В Торонто я избегаю читать американские газеты и журналы и смотреть американское телевидение – да и американцев тоже сторонюсь. Но Торонто не слишком далек от Америки. Не далее как позавчера – 28 января 1987 года – «Глоб энд мейл» дала на первой полосе полный текст послания президента Рональда Рейгана конгрессу о положении в стране. Поумнею я когда-нибудь или нет? Когда я натыкаюсь на что-нибудь подобное, я знаю, мне лучше не читать этого, а просто взять в руки молитвенник. Нельзя поддаваться гневу; но, прости меня, Господи, я все-таки читаю послание о положении в стране. Я уже почти двадцать лет живу в Канаде, но некоторые из моих безумных соотечественников по-прежнему приводят меня в умиление.

«Нельзя допустить укрепления позиций Советского Союза в Центральной Америке», – сказал президент Рейган. Он также заявил, что не пожертвует своим планом размещения в космосе ядерных боеголовок – милой его сердцу программой «звездных войн» – ради соглашения с Советским Союзом по ядерным вооружениям. Он даже сказал, что «ключевым вопросом повестки дня на переговорах между Соединенными Штатами и СССР» должно быть «требование более ответственного поведения Советского Союза на мировой арене». Можно подумать, Соединенные Штаты – прямо-таки образец «ответственного поведения на мировой арене»!

Мне кажется, президент Рейган может позволить себе говорить такое только потому, что знает: американцы никогда не привлекут его к ответственности за эти слова; только история может привлечь вас к ответственности, а я уже говорил, что американцы, на мой взгляд, в истории не слишком сильны. Многие ли из них помнят хотя бы события своей собственной недавней истории? Разве двадцать лет назад – это давно? Помнят ли они 21 октября 1967 года? На улицы Вашингтона тогда вышло пятьдесят тысяч участников антивоенной демонстрации, и одним из них был я; это называлось «Марш на Пентагон» – помните? А два года спустя – в октябре шестьдесят девятого – в Вашингтоне снова было пятьдесят тысяч демонстрантов; они несли в руках фонарики и плакаты, призывающие к миру. В Бостоне выступило сто тысяч, а в Нью-Йорке – двести пятьдесят; и они тоже требовали мира. Рональд Рейган тогда еще не успел вогнать в оцепенение все Соединенные Штаты, но ему уже удалось погрузить в спячку Калифорнию; он заявил, что те, кто протестует против войны во Вьетнаме, «оказывают помощь и поддержку нашему врагу». Став президентом, он так и не понял, кто наш враг.

Теперь мне кажется, Оуэн Мини всегда знал это; он вообще все знал.

В феврале 1962 года мы учились в выпускном классе Грейвсендской академии; мы тогда подолгу смотрели телевизор в доме номер 80 на Центральной. Президент Кеннеди заявил: в случае чего американские советники во Вьетнаме на огонь ответят огнем.

– НАДЕЮСЬ, МЫ *СОВЕТУЕМ* ТЕМ, КОМУ НАДО, – заметил Оуэн Мини.

Той весной, менее чем за месяц до выпускных экзаменов в Грейвсендской академии, по телевизору показали карту Таиланда; туда отправляли пять тысяч американских морских пехотинцев и пятьдесят реактивных истребителей – «в ответ на коммунистическую экспансию в Лаосе», как сказал президент Кеннеди.

– НАДЕЮСЬ, МЫ *СОЗНАЕМ*, ЧТО ДЕЛАЕМ, – сказал Оуэн Мини.

Летом 1963 года – мы тогда закончили первый курс университета – буддисты во Вьетнаме выступили с демонстрациями; прошла волна мятежей. Нам с Оуэном довелось увидеть наши первые жертвы – по телевизору. Правительственные войска Южного Вьетнама под руководством Нго Динь Зьема, избранного президентом, разгромили несколько буддийских храмов; это произошло в августе. Чуть раньше, в мае, брат Зьема, Нго Динь Нью, в ведении которого находились войска тайной полиции, разогнал буддийское праздничное богослужение. Тогда были убиты восемь детей и одна женщина.

– ЗЬЕМ – КАТОЛИК, – сообщил тогда Оуэн Мини. – КАК КАТОЛИК МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ В БУДДИЙСКОЙ СТРАНЕ?

Это было тем самым летом, когда Генри Кэбот Лодж стал послом США во Вьетнаме; тем самым летом, когда Лодж получил из Госдепартамента телеграмму, в которой ему указывалось, что Соединенные Штаты «не намерены больше терпеть вмешательства» Нго Динь Ню в политику президента Зьема. Через два месяца произошел военный переворот, южновьетнамское правительство Зьема свергли, а на следующий день и Зьем, и его брат Ню были убиты.

– ПОХОЖЕ, МЫ ВСЕ-ТАКИ *СОВЕТУЕМ* НЕ ТЕМ, КОМУ НАДО, – сказал Оуэн.

А следующим летом, когда мы увидели по телевизору сторожевые катера Северного Вьетнама в Тонкинском заливе – за два дня они атаковали два американских эсминца, – Оуэн сказал:

– НЕУЖЕЛИ МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЭТО ВСЕ КИНО?

Президент Джонсон обратился к конгрессу с просьбой дать ему полномочия, чтобы «предпринять все необходимые меры для отражения вооруженного нападения на войска Соединенных Штатов и предотвращения дальнейшей агрессии». Тонкинская резолюция была единогласно одобрена нижней палатой – 416 голосов «за», ни одного «против». Потом она прошла через сенат при соотношении голосов 88 к 2. Но Оуэн Мини задал тогда бабушкиному телевизору вопрос:

– ЭТО ЧТО ЖЕ, ЗНАЧИТ, ПРЕЗИДЕНТ МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ ВОЙНУ, НЕ ОБЪЯВЛЯЯ ЕЕ?

В тот новогодний вечер – я помню, Хестер тогда выпила лишнего и ее рвало, – численность личного состава американских вооруженных сил во Вьетнаме едва ли превышала двадцать тысяч человек, и убили из них всего человек десять или около того. К тому времени, когда конгресс отменил Тонкинскую резолюцию – а случилось это в мае 1970 года, – во Вьетнаме находилось уже больше полумиллиона американских солдат и больше сорока тысяч погибло. Оуэн Мини заметил неладное еще в 1965-м.

В марте американские военно-воздушные силы начали операцию «Раскаты грома» – удары наносились по отдельным объектам в Северном Вьетнаме, чтобы остановить поток поставок на Юг, – и тогда же во Вьетнаме высадились первые пехотные части США.

– КОНЦА ЭТОМУ ПОКА НЕ ВИДНО, – сказал Оуэн. – И НИЧЕМ ХОРОШИМ ЭТО УЖЕ НЕ КОНЧИТСЯ.

К Рождеству президент Джонсон приостановил операцию «Раскаты грома»; бомбардировки прекратились. Но через месяц возобновились, и комитет сената по международным делам начал слушания по этой войне, – они транслировались по телевидению в прямом эфире. Тут уже и моя бабушка заинтересовалась.

Осенью 1966-го было объявлено, что операция «Раскаты грома» «должна замкнуться над Ханоем»; но Оуэн Мини тогда сказал:

– Я ДУМАЮ, ХАНОЙ С ЭТИМ СПРАВИТСЯ.

А помните операцию «Тигровая акула»? А как насчет операции «Пресс – Белое крыло – Тханьфонг-11»? После нее «подтвержденные потери противника» составили 2389 человек. А потом была операция «Пол Ревир-Тханьфонг-14» – не такая удачная, «подтвержденные потери противника» – всего 546 человек. А операция «Маенгхо-6» – помните такую? Тогда «подтвержденные потери противника» составили 6161 человек.

К концу 1966 года общее число погибших в боевых действиях американских солдат достигло 6644 человек; и не кто иной, как Оуэн Мини, напомнил, что это на 483 человека больше, чем «потери противника» в операции «Маенгхо».

– Как ты все это помнишь, Оуэн? – спрашивала его моя бабушка.

Генерал Уэстморленд⁴ запрашивал из Сайгона «свежее подкрепление»; Оуэн помнил и об этом. А Госдепартамент заявлял и уверял Дин Раск⁵ – а вы помните такого? – будто мы «побеждаем в войне на истощение».

– В ПОДОБНОЙ ВОЙНЕ МЫ ПОБЕДИТЬ НЕ МОЖЕМ, – сказал Оуэн Мини.

К концу шестьдесят седьмого во Вьетнаме находилось пятьсот тысяч солдат США. Тогда-то генерал Уэстморленд и сказал: «Мы достигли важного этапа, когда можно говорить о том, что конец уже не за горами».

– КОНЕЦ ЧЕГО? – вопрошал Оуэн Мини генерала на телеэкране. – А ЧТО СТАЛО СО «СВЕЖИМ ПОДКРЕПЛЕНИЕМ»? ИЛИ ВСЕ УЖЕ ЗАБЫЛИ ПРО «СВЕЖЕЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ»?

Мне сегодня кажется, что Оуэн помнил все; все знать – это еще и все помнить.

А помните операцию «Тет» в январе шестьдесят восьмого? Тет – традиционный вьетнамский праздник, вроде нашего Рождества и Нового года; и на этой войне в период праздников обычно прекращали огонь. Но в тот год войска Северного Вьетнама атаковали более сотни южновьетнамских городов, в их числе больше тридцати центров провинций. Это был год, когда президент Джонсон объявил, что не будет переизбираться на новый срок, – помните? Это был год, когда убили Роберта Кеннеди, – припоминаете? Это был год, когда президентом стал Ричард Никсон; может, вы и его еще помните. И в следующем, 1969 году – когда Рональд Рейган сказал, что те, кто протестует против войны во Вьетнаме, «оказывают помощь и поддержку нашему врагу», – во Вьетнаме все еще оставалось полмиллиона американцев. Я никогда не был в их числе.

Во Вьетнаме служило также больше тридцати тысяч канадцев. И почти столько же американцев за время войны во Вьетнаме уехало в Канаду; я был одним из них – одним из тех, кто остался тут. К марту 1971 года – лейтенанта Уильяма Келли⁶ тогда уже признали виновным в массовом преднамеренном убийстве – я получил статус иммигранта с видом на жительство и обратился за предоставлением гражданства. В Рождество 1972-го президент Никсон бомбил Ханой; налет длился одиннадцать дней, было сброшено больше сорока тысяч тонн фугасных бомб. Оуэн оказался прав: Ханой с этим справился.

Да и был ли Оуэн вообще когда-нибудь не прав? Я помню, например, что он сказал об Эбби Хоффмане, – помните Эбби Хоффмана? Был такой парень, он пытался «подорвать основы» Пентагона; эдакий шут гороховый. Этот тип создал Международную партию молодежи, их еще называли «йиппи». Он очень активно выступал с антивоенными протестами и одновременно – с хамскими, глумливыми и пошлыми заявлениями, которые полагал революционными.

– ИНТЕРЕСНО, КОМУ, ЭТОТ ПРИДУРОК ДУМАЕТ, ОН ПОМОГАЕТ? – сказал Оуэн.

Не кто иной, как Оуэн Мини, помог мне избежать Вьетнама – такой фокус мог устроить только он.

– ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ МОИМ МАЛЕНЬКИМ ПОДАРКОМ ТЕБЕ, – так он выразился.

Мне всякий раз становится стыдно, когда я вспоминаю, как рассердился на него из-за броненосца. Видит Бог, если даже Оуэн и отнял у меня что-то в жизни, все равно он дал мне больше, – даже притом, что он отнял у меня маму.

⁴ Уильям Уэстморленд – командующий вооруженными силами США во Вьетнаме с 1964 по 1968 г.

⁵ Дин Раск – госсекретарь США с 1961 по 1969 г.

⁶ Уильям Келли – командир взвода, устроившего массовую резню в одной из деревень провинции Сонгми. В 1971 г. приговорен судом к пожизненной каторге, но спустя несколько лет помилован.

3

Ангел

В своей спальне в доме 80 на Центральной улице мама держала портновский манекен; он стоял по стойке «смирно» рядом с ее кроватью, как слуга, готовый разбудить ее; как часовой, охраняющий ее сон; как любовник, что вот-вот нырнет к ней в постель. Мама хорошо шила; при других обстоятельствах она вполне могла бы стать портнихой. Запросы у нее были скромные, и одежду она шила себе сама. Мамина швейная машинка, тоже стоявшая у нее в спальне, разительно отличалась от того антиквариата, над которым мы в детстве издевались на чердаке. Мамина машинка представляла собой последнее слово техники и работала практически без перерыва.

Все годы после окончания школы, пока мама не вышла замуж за Дэна Нидэма, она нигде толком не работала и не училась, и, хотя нужды никогда не знала – бабушка не жалела для нее денег, – мама старалась сводить свои личные расходы к минимуму. Часто она привозила из Бостона потрясающе красивые наряды, но никогда не покупала их. Она облачала в эти наряды свой манекен, копировала их, а потом возвращала оригиналы в магазины в Бостоне. По ее словам, она всегда говорила им одно и то же, и на нее никогда не сердились – вместо этого ей сочувствовали и принимали вещи назад без единого возражения.

– Моему мужу это не понравилось, – объясняла мама всякий раз.

Потом она со смехом рассказывала об этом нам с бабушкой. «Они, наверное, думают, что мой муж – настоящий тиран! Ему ничего не нравится!» Бабушка, остро переживавшая, что мама не замужем, только смущенно улыбалась в ответ, – впрочем, подобная шалость выглядела такой незначительной и невинной, что Харриет Уилрайт наверняка не осуждала дочь: пусть *немного* повеселится.

Мама шила очень красивые вещи. Очень простые, как я уже говорил – в основном черные или белые, – но ткани мама брала самые лучшие, и одежда сидела на ней идеально. Платья, блузки и юбки, которые мама приносила домой, были разноцветные, с пестрым узором, но мама мастерски воспроизводила их покрой в неизменно черном или белом варианте. Как во многом другом, мама и здесь достигла совершенства без малейшей оригинальности или хотя бы изобретательности. Игра, в которую она вовлекала идеальную фигуру манекена, должно быть, тешила ее бережливую уилрайтовскую душу, душу истинной янки.

Мама не любила темноты. Сколько бы ни было света – ей всегда не хватало. Мне манекен представлялся кем-то вроде ее сообщника в войне с ночью. Она задергивала занавески, только когда раздевалась перед сном; надев ночную сорочку и халат, она тут же снова раздвигала их. Когда она выключала лампу на своем прикроватном столике, к ней в комнату устремлялся весь свет с улицы – а там всегда что-нибудь да светило: на Центральной улице горели уличные фонари, мистер Фиш включал на всю ночь лампы у себя в доме, и даже бабушка не гасила лампочку на крыльце, и та безо всякой пользы освещала дверь гаража. Вдобавок к этому был еще свет звезд, лунный свет и даже то загадочное сияние, которое ночью брезжит на восточном горизонте и о котором знает любой житель Атлантического побережья. Не бывало таких ночей, чтобы мама лежала в постели и не могла разглядеть успокаивающий силуэт манекена; это был не просто ее союзник в борьбе с темнотой, это был ее двойник.

Он никогда не стоял обнаженным. Нет, я вовсе не имею в виду, что мама была до того помешана на шитье, что на манекене всегда красовалось какое-нибудь очередное недошитое платье; нет, из соображений ли приличий или просто из-за того, что мама так и не выросла из игры в куклы, – но манекен всегда был одет. Причем не во что попало; мама никогда не

позволила бы манекену щеголять в одном белье. Нет, он был всегда полностью одет, и притом одет красиво.

Помню, как я просыпался – от кошмарного сна или недомогания – и шел по темному коридору к маме, ощупью, по стенке, пока не наткнулся на ручку ее двери. Однажды, открыв дверь, я почувствовал, что попал в другой часовой пояс; после темноты моей комнаты и черного коридора мамина спальня вся светилась – по сравнению с остальной частью дома там всегда словно брезжил рассвет. И еще там стоял манекен, наряженный для настоящей жизни – для выхода в свет. Иногда я принимал манекен за маму, я думал, она уже встала с постели и направляется в мою комнату – наверное, услышала, как я кашлял или плакал во сне, а может, просто рано встала или, наоборот, только что пришла, задержавшись где-то допоздна. А иногда манекен заставлял меня вздрагивать; я почему-то начисто забывал о его существовании и в сером полумраке маминой комнаты принимал его за бандита – ведь фигура, замершая столь неподвижно возле спящего человека, равно похожа на стража и на злоумышленника.

А все потому, что у манекена была мамина фигура – один к одному. «На эту штучку поневоле оглянешься», – часто говаривал Дэн Нидэм.

После того как Дэн с мамой поженились, он рассказывал мне про манекен разные интересные вещи. Когда мы переехали в квартиру Дэна в общежитии Академии, манекен, как и мамина швейная машинка, поселились там в столовой, в которой мы, впрочем, никогда не ели. Чаще всего мы питались в школьном буфете, а когда все-таки закусывали дома, то делали это на кухне.

Дэн пробовал спать в одной комнате с манекеном всего несколько раз. «Что случилось, Табби?» – спросил он в первую ночь, подумав, что мама встала с кровати. «Ложись спать», – сказал он в другой раз. А однажды спросил у манекена: «Ты что, заболела?» И мама, еще не успев как следует заснуть, промурлыкала: «Нет, а ты?»

Но самые яркие впечатления от неожиданных встреч с маминым манекеном остались, конечно, у Оуэна Мини. Задолго до того, как нашу с ним жизнь изменил броненосец Дэна Нидэма, одной из любимых игр Оуэна в доме на Центральной улице было раздевать и наряжать манекен. Моя бабушка не одобряла подобной забавы – мы же как-никак мальчишки. Мама поначалу тоже насторожилась – она опасалась за свою одежду. Но потом стала нам доверять: мы брали ее вещи чистыми руками, мы возвращали все платья, блузки и юбки на свои вешалки, а нижнее белье, тщательно сложенное, – в свои ящики. Со временем мама стала настолько снисходительно относиться к нашей игре, что иногда даже делала нам комплименты, – дескать, ей такая комбинация и в голову не приходила. А Оуэн порой приходил в такой восторг от наших творений, что просил мою маму примерить необычный ансамбль.

Только Оуэн Мини мог заставить мою маму покраснеть.

– Я ношу эту блузку и эту юбку уже сто лет, – говорила она. – Но ни разу не догадалась надеть их вместе с этим поясом! Ты просто гений, Оуэн!

– **НО ВЕДЬ НА ВАС ЛЮБАЯ ВЕЩЬ СМОТРИТСЯ ХОРОШО!** – отвечал ей Оуэн, и она краснела.

Чтобы не льстить в открытую, можно было бы просто заметить, что мою маму, как и манекен, наряжать легко, потому что все вещи у нее или черные, или белые: всё со всем сочетается.

Было у нее еще, правда, одно красное платье, и мы никак не могли уговорить маму носить его. Вообще-то оно никогда и не предназначалось для носки, но я был уверен, что уилрайтовская бережливость не позволит маме отдать его кому-нибудь или выбросить. Она увидела это платье в каком-то шикарном бостонском магазине; ей понравился плотный эластичный материал, понравился глубокий вырез на спине, понравился узкий приталенный верх и широкая юбка – все, кроме цвета. Такой цвет мама терпеть не могла – ярко-алый, как листья пуансеттии на Рождество. Она собиралась, как всегда, воспроизвести его в черном или белом варианте; но

до того ей понравился покрой, что она сшила даже два платья – и черное, и белое. «Белое – на лето, под загар, – сказала мама. – А черное – для зимы».

Приехав в Бостон, чтобы вернуть красное платье, мама, по ее словам, обнаружила, что магазин сгорел дотла. Она никак не могла припомнить его названия, но потом выяснила у жителей соседних домов и отправила по бывшему адресу письмо. У владельцев магазина оказались какие-то проблемы со страховкой, и прошло несколько месяцев, прежде чем маме удалось переговорить с представителем магазина, да и тот оказался всего лишь их юристом. «Но я ведь не заплатила за это платье! – объясняла мама. – Оно очень дорогое, я хотела примерить его дома и присмотреться как следует. Оно мне не понравилось, и я не хочу, чтобы мне через пару месяцев прислали счет. Оно очень дорогое», – повторила она, но юрист ответил, что теперь это уже не имеет значения. Все сгорело. Счета сгорели. Инвентарные описи сгорели. Все товары сгорели. «Телефон расплавился, – сказал юрист. – И кассовый аппарат расплавился, – добавил он. – Им теперь не до платья. Оно теперь ваше. Считайте, что вам повезло», – произнес он таким тоном, что мама почувствовала себя виноватой.

– Боже милостивый, – сказала потом бабушка, – как легко заставить нас, Уилрайтов, почувствовать себя виноватыми. Возьми себя в руки, Табита, и перестань расстраиваться. Платье очень милое и цвет – как раз для Рождества. Оно будет прекрасно смотреться, – решила бабушка.

Но я не видел, чтобы мама хоть раз вынула это платье из шкафа; после того как она его скопировала, только Оуэн иногда наряжал в него манекен. И даже он не сумел заставить маму полюбить красное платье.

– Может, у него цвет и подходит для Рождества, – говорила она. – Вот только мой цвет к этому платью совсем не подходит – особенно в Рождество.

Она имела в виду, что без загара выглядит в красном слишком бледной; но, спрашивается, кто во всем Нью-Гэмпшире может на Рождество похвастаться загаром?

– НУ, ТОГДА НОСИТЕ ЕГО ЛЕТОМ! – предложил Оуэн.

Но носить такой кричащий цвет летом – значило, по мнению мамы, уж совсем откровенно выставлять себя напоказ; к тому же он требует более темного загара. Дэн предложил пожертвовать красное платье для его убогой коллекции сценических костюмов. Но мама решила, что это будет пустым расточительством, к тому же ни у кого из ребят в Грейвсендской академии и уж точно ни у одной женщины в нашем городе не было фигуры, достойной такого платья.

Дэн Нидэм не только взял на себя постановку пьес силами ребят Академии, он еще и возродил жалкий любительский театр нашего городка, который назывался «Грейвсендские подмостки». Дэн приглашал в труппу театра всех желающих, и благодаря его уговорам половина преподавателей Академии обнаружили в себе страсть к сценической игре; а еще он сумел разбудить артиста в каждом втором горожанине. Ему даже удалось уговорить мою маму сыграть главную роль – правда, только один раз.

Насколько мама любила петь, настолько же она стеснялась играть на сцене. Она согласилась участвовать лишь в одной пьесе, поставленной Дэном, и, я думаю, ее согласие было просто жестом доброй воли в их продолжительных взаимных ухаживаниях, и то при условии, что Дэн будет играть в паре с ней – если он тоже сыграет главную роль и если это не роль ее любовника. Она не хочет, чтобы в городе выдумывали всякие небылицы насчет их романа, сказала мама. После свадьбы мама больше ни разу не вышла на сцену, как, впрочем, и Дэн. Он ставил пьесы, она суфлировала. У мамы был самый подходящий голос для суфлера – тихий, но отчетливый. Я думаю, все это благодаря урокам пения.

Ее единственная и притом звездная роль была в «Улице Ангела». Это все происходило так давно, что я уже не помню ни имен персонажей, ни декораций. Труппа «Грейвсендских подмостков» играла в здании городского совета, и о декорациях там никогда особо не заботи-

лись. Что я помню, так это фильм, снятый по мотивам «Улицы Ангела»; он назывался «Газовый свет», и я смотрел его несколько раз. У мамы была роль, которую в кино исполняла Ингрид Бергман; это жена, которую подлый муженек доводит своими гнусными выходками до умопомешательства. Негодяя играл Дэн – в фильме это персонаж Шарля Буайе. Если вы знакомы с пьесой, то должны помнить, что, хотя Дэн с мамой по сюжету муж и жена, нежных чувств друг к другу они явно не питают; вообще это был единственный раз, когда я видел, чтобы Дэн измывался над мамой.

Дэн говорит, что в Грейвсенде некоторые до сих пор «косо смотрят на него» – и все из-за той роли, из-за персонажа Буайе. Косятся на него, будто это он давным-давно убил маму бейсбольным мячом, – причем умышленно.

Лишь однажды в этой постановке – вернее, на генеральной репетиции, когда актеры выступают уже в сценических костюмах, – мама надела красное платье. По-моему, в той самой сцене, где они с этим ужасным мужем вечером собираются в театр (или куда-то еще); она уже полностью оделась, а он спрятал свою картину и обвиняет жену, будто это *она* ее спрятала, – покуда та сама не начинает в это верить, – после чего прогоняет ее в комнату и больше не выпускает. А может, в другой сцене, когда они идут на концерт и муж находит у нее в сумочке свои часы – он сам их туда положил, – а теперь он доводит жену до слез и заставляет умолять ей поверить, и все – на глазах у снобов из высшего общества. В любом случае предполагалось, что мама наденет свое красное платье только в одной сцене, и это была единственная сцена во всей пьесе, где она играла из рук вон плохо. Она никак не могла оставить платье в покое – то и дело обирала с него воображаемые пушинки и ниточки, все время озабоченно оглядывала себя, словно опасаясь, вдруг разрез на спине разойдется до низа, и постоянно поеживалась, словно ткань раздражала ее кожу.

Мы с Оуэном ходили на каждое представление «Улицы Ангела». Вообще мы смотрели все постановки Дэна – и пьесы, которые он ставил в Академии, и спектакли любительской труппы «Грейвсендских подмостков», – но «Улица Ангела» была одной из немногих пьес, которую мы смотрели столько раз, сколько ее показывали. Видеть мою маму на сцене, видеть, как Дэн издевается над ней, – нас завораживала эта ложь! Дело не в пьесе, а именно в этой лжи: Дэн издевается над моей мамой, Дэн подстраивает ей всякие пакости. Это захватывало невероятно!

Мы с Оуэном хорошо знали всю труппу Грейвсенда. Миссис Ходдл, эта мегера из нашей епископальной воскресной школы, играла в «Улице Ангела» характерную роль – распутную служанку Анджелу Лэнсбери, – можете вообразить? Мы с Оуэном так и не смогли. Миссис Ходдл играет шлюху! Миссис Ходдл – и вульгарность! Мы не могли отделаться от ощущения, что она вот-вот крикнет: «Оуэн Мини, спустись оттуда немедленно! Сейчас же вернись на свое место!» Вдобавок ко всему на ней был костюм французской служанки с очень узкой юбкой и черными узорчатыми чулками, так что потом в воскресной школе мы с Оуэном все время безуспешно пытались разглядеть ее ноги – увидев их впервые, мы поразились; но еще больше мы поразились тому, что они у нее очень даже ничего!

Роль положительного героя «Улицы Ангела» – Джозефа Коттена – досталась нашему соседу, мистеру Фишу. Мы с Оуэном знали, что он все еще пребывает в трауре после безвременной кончины своего Сагамора; весь ужас роковой встречи пса и злополучного грузовика на Центральной улице до сих пор сквозил во взгляде мистера Фиша, и этим страдальческим взглядом он сопровождал каждый шаг моей мамы на сцене. Мистер Фиш не вполне отвечал нашему с Оуэном представлению о герое; однако Дэн Нидэм, с его талантом подбирать и дотягивать до приемлемого уровня даже самых безнадежных любителей, решил, должно быть, задействовать в пьесе скорбь и негодование нашего соседа.

В общем, после генеральной репетиции «Улицы Ангела» красное платье снова перекочевало в шкаф – навсегда, не считая тех частых случаев, когда Оуэн облачал в него манекен.

Мамину неприязнь к платью Оуэн, похоже, воспринимал как вызов: на манекене оно всегда смотрелось потрясающе.

Я рассказываю все это лишь затем, чтобы показать, что Оуэн почти так же привык к манекену, как и я; однако он не привык видеть его ночью. Ему не был знаком этот полусвет-полумрак в маминной комнате, когда она спала и рядом с ее кроватью стоял манекен – эта безошибочно узнаваемая фигура, этот совершенный силуэт. Тихий и неподвижный, словно он считал мамыны вдохи и выдохи.

Однажды, когда Оуэн ночевал у меня в комнате в доме на Центральной, мы очень долго не могли уснуть: из противоположного конца коридора постоянно доносился кашель Лидии. Всякий раз, как мы думали, что она наконец справилась с очередным приступом – или уже умерла, – все начиналось снова. Едва я провалился в глубокий сон, как Оуэн растолкал меня; я не мог пошевелить даже пальцем, словно лежал в мягком, страшно удобном гробу, который медленно опускали в яму, несмотря на все мои старания восстать из мертвых.

– МНЕ ЧТО-ТО ПЛОХО, – сказал Оуэн.

– Тебя тошнит? – спросил я его, по-прежнему не в силах пошевелиться; я не мог даже открыть глаз.

– НЕ ПОЙМУ ПОКА, – отозвался он. – ПО-МОЕМУ, У МЕНЯ ТЕМПЕРАТУРА.

– Поди скажи моей маме, – предложил я.

– МНЕ КАЖЕТСЯ, ЭТО КАКАЯ-ТО РЕДКАЯ БОЛЕЗНЬ, – сказал Оуэн.

– Поди скажи моей маме, – повторил я.

Я услышал, как он стукнулся в темноте о стул, потом открылась и закрылась дверь моей комнаты. Затем я услышал, как он шарит руками по стене коридора. Потом он остановился у двери в мамину спальню, и мне послышалось, как его рука дрожит на дверной ручке; так он стоял, кажется, целую вечность.

Потом я подумал: он же наверняка забыл, что там стоит манекен. Хотелось крикнуть: «Смотри не испугайся манекена, он по ночам чудно выглядит!» Но я все лежал в своем сонном гробу, и рот мой словно залепили пластырем. Я ждал, что Оуэн закричит. Конечно же, именно так все и случится; вот сейчас раздастся душераздирающий вопль: «ААААААААААА!» – и весь дом потом еще долго не сможет уснуть. А может, в порыве геройства Оуэн набросится на манекен и свалит его на пол.

Я рисовал себе картину за картиной и не сразу понял, что Оуэн уже вернулся в комнату, стоит возле моей кровати и дергает меня за волосы.

– ПРОСНИСЬ! ТОЛЬКО ТИХО! – шептал он. – ТВОЯ МАМА НЕ ОДНА. У НЕЕ В КОМНАТЕ КТО-ТО ЧУЖОЙ. ПОШЛИ, САМ УВИДИШЬ! ПО-МОЕМУ, ЭТО АНГЕЛ!

– Ангел? – переспросил я.

– Т-Ш-Ш!

Вот теперь у меня сна не было ни в одном глазу; до того хотелось посмотреть, как он останется в дураках, что я не стал ничего говорить про манекен. Я взял его за руку, и мы пошли по коридору в комнату к маме. Оуэн весь дрожал как осиновый лист.

– С чего ты взял, что это ангел? – прошептал я.

– Т-Ш-Ш!

Итак, мы бесшумно проскользнули в мамину комнату и поползли на животах, словно снайперы в поисках надежного укрытия, пока перед нами не открылась полная картина: в постели мама, свернувшаяся вопросительным знаком, и нависший над ней манекен.

Спустя некоторое время Оуэн сказал:

– ОН ИСЧЕЗ. НАВЕРНОЕ, УВИДЕЛ МЕНЯ, КОГДА Я ПРИХОДИЛ В ПЕРВЫЙ РАЗ.

Я невинно указал пальцем на манекен и прошептал:

– А это что?

– ИДИОТ, ЭТО ЖЕ МАНЕКЕН! – ответил Оуэн. – АНГЕЛ БЫЛ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ КРОВАТИ.

Я потрогал ему лоб: он весь горел.

– У тебя температура, Оуэн, – сказал я.

– Я ВИДЕЛ АНГЕЛА, – сказал он.

– Это вы, ребята? – раздался мамин сонный голос.

– У Оуэна температура, – сказал я. – Он плохо себя чувствует.

– Иди сюда, Оуэн, – сказала мама и села в постели.

Он подошел к ней, и она потрогала его лоб, потом велела мне принести аспирин и стакан воды.

– Оуэн видел ангела, – сказал я.

– Тебе приснилось что-то страшное, Оуэн? – спросила мама, а он тем временем заполз к ней и лег рядом.

Потом из подушек донесся его приглушенный голос:

– НЕ СОВСЕМ.

Когда я вернулся со стаканом и аспирином, мама уже снова уснула, приобняв Оуэна, который, со своими распластавшимися по подушке ушами и маминей рукой, поперек его груди, был похож на бабочку, пойманную кошкой. Он ухитрился проглотить аспирин и запить его водой, не потревожив маму, и отдал мне стакан со стоическим выражением лица.

– Я ОСТАЮСЬ ЗДЕСЬ, – отважно прошептал он. – НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ОН ВЕРНЕТСЯ.

Он выглядел до того нелепо, что я не мог спокойно на него смотреть.

– Мне показалось, ты что-то говорил про ангела, – прошептал я. – Что плохого может сделать ангел?

– Я ЖЕ НЕ ЗНАЮ, КАКОЙ ЭТО БЫЛ АНГЕЛ, – ответил он, и мама пошевелилась во сне; она крепче обняла Оуэна, чем, видимо, одновременно и напугала его, и взволновала.

Я побрел в свою комнату один.

Из какого такого вздора Оуэн Мини вывел то, что он позже назовет ПРОМЫСЛОМ? Из своего лихорадочного воображения? Многие годы спустя, когда он упомянул о ТОМ РОКОВОМ БЕЙСБОЛЕ, я поправил его, может быть, чересчур поспешно.

– Ты хотел сказать – о том *несчастном случае*, – сказал я.

Он приходил в ярость, когда я называл что-либо «случаем» – особенно то, что происходит с ним. Когда разговор заходил о предзнаменованиях, Оуэн Мини всякий раз уличал Кальвина в недостатке веры. Ибо случайностей не бывает; и у того бейсбола тоже был свой смысл – как есть смысл в том, что сам он, Оуэн, такой маленький, и в том, что у него такой голос. Оуэн не сомневался: он тогда ПОМЕШАЛ АНГЕЛУ, он ПОТРЕВОЖИЛ АНГЕЛА, КОГДА ТОТ ВЫПОЛНЯЛ СВОЮ РАБОТУ, он НЕ ДАЛ ОСУЩЕСТВИТЬСЯ ПРОМЫСЛУ.

Теперь я понимаю: Оуэн и в мыслях не держал, что увидел тогда ангела-хранителя; он был вполне убежден, особенно после того РОКОВОГО БЕЙСБОЛА, что помешал Ангелу Смерти. И хотя мой друг не стал тогда посвящать меня в сюжет этой Божественной Повести, я знаю, он был уверен именно в этом: он, Оуэн Мини, помешал Ангелу Смерти осуществить священную миссию, и тот перепоручил ее, возложив на плечи Оуэна. Откуда только взялись столь чудовищные и столь убедительные для него самого фантазии?

Мама была слишком сонной, чтобы измерить ему температуру, но его лихорадило, это точно, и лихорадка привела его в постель к моей маме, прямо в ее объятия. И не вызванное ли этим лихорадочное волнение – не говоря уже о температуре – придало ему решимости не смыкать всю ночь глаз и быть готовым к приходу очередного незваного гостя – будь то ангел, привидение или кто-нибудь из незадачливых домочадцев? Думаю, именно так.

Несколько часов спустя комнату моей мамы посетило другое жуткое видение. Я говорю «жуткое» потому, что Оуэн тогда побаивался моей бабушки; он, верно, чувствовал ее неприязнь к гранитному бизнесу. Я забыл погасить в маминной ванной свет и оставил открытой дверь в коридор; но хуже того, я не закрыл до конца кран, когда набирал Оуэну холодную воду, чтоб он выпил аспирин. Бабушка всегда уверяла, будто слышит, как электрический счетчик отмеривает каждый киловатт; когда наступали сумерки, она ходила за мамой по пятам и то и дело выключала за ней свет. А в ту ночь бабушка не только почувствовала, что где-то оставили включенным свет, но еще и услышала, что где-то оставили открытым кран, – может, в подвале загудел насос, а может, просто было слышно, как журчит вода в раковине. Обнаружив в ванной столь вопиющее безобразие, бабушка тут же ринулась к маме в спальню – то ли забеспокоилась, не заболела ли мама, то ли, возмущенная такой легкомысленной расточительностью, решила выговорить дочери за небрежность, пусть даже для этого придется ее разбудить.

Все могло обойтись тем, что бабушка закрыла бы воду, погасила свет и вернулась к себе спать, но по ошибке она повернула холодный кран не в ту сторону – резко открыв его, она обрызгала себя ледяной водой, – ведь кран работал уже не первый час. Ночная сорочка тут же промокла, и бабушка поняла, что вдобавок ко всему придется переодеваться. Возможно, именно это заставило ее разбудить маму: мало того что электричество и вода тратятся зря – так и ее, бабушку, облили, стоило ей попытаться прекратить разбазаривание. Несложно догадаться, что по дороге к маме в комнату бабушка растеряла остатки терпения. И хотя Оуэн был готов к пришествию ангела, пожалуй, даже Ангелу Смерти, по его понятиям, не подобало являться так шумно.

В своей ночной рубашке, обычно просторной, а сейчас мокрой насквозь и потому облепившей сухощавое сгорбленное тело, с накрученными на бигуди волосами, с лицом мертвенно-белым под толстым слоем крема, бабушка с грохотом вломилась в комнату. Оуэн лишь спустя несколько дней смог рассказать мне, что ему тогда пришло в голову: если ты спугнул Ангела Смерти, Божественный промысел прибегает к помощи таких ангелов, которых уже ничем не спугнешь; они могут даже обращаться по имени.

– Табита! – раздался грозный бабушкин голос.

– А-А-А!

Оуэн Мини заорал так истошно, что бабушка потом еще долго хватала ртом воздух. Она увидела, как из маминной постели, словно подброшенный катапультий, выскочил маленький демон – выскочил с такой внезапной и необъяснимой силой, что бабушке показалось, это крохотное создание сейчас взлетит. Мама рядом с ним тоже словно парила в воздухе. Лидия, чьи ноги тогда еще были на месте, выпрыгнула из кровати и с разбегу налетела на платяной шкаф; потом еще несколько дней она всем демонстрировала свой разбитый нос. Сагамор, которому до встречи с грузовиком из конторы по прокату пеленок оставалось уже совсем немного, разбудил своим лаем мистера Фиша. По всей округе загремели крышки мусорных баков – Оуэн Мини распугал местных котов с енотами, и они бросились кто куда. В добром десятке домов Грей-всенда заворочались в своих кроватях испуганные обыватели, решив спросонок, что, верно, Ангел Смерти все же пришел по чью-то душу.

– Табита, – сказала бабушка маме на следующий день. – По-моему, это в высшей степени странно и неприлично – позволять этому дьяволенку спать в своей постели.

– У него была температура, – отозвалась мама. – И к тому же я была слишком сонная.

– У него явно кое-что посерьезнее, чем температура, притом все время, – заметила бабушка. – Он говорит и ведет себя будто одержимый.

– Ты у всех найдешь недостатки, – ответила мама.

– Оуэну показалось, что он видел ангела, – объяснил я бабушке.

– Ему показалось, что я – ангел? – удивилась бабушка. – Я же говорю, одержимый.

– Оуэн сам ангел, – сказала мама.

– Ничего подобного, – ответила бабушка. – Он мышь. Гранитная Мышь!

На другой день, увидев нас с Оуэном на велосипедах, мистер Фиш махнул рукой, подзывая нас. Он делал вид, что прилаживает к забору расшатавшуюся штакетину, хотя на самом деле просто наблюдал за нашим домом и ждал, пока кто-нибудь выйдет на улицу.

– Привет, ребята! – крикнул он. – Слышали, какой тарарам тут был прошлой ночью?

Оуэн неопределенно помотал головой.

– Я слышал, как лаял Сагамор, – сказал я.

– Нет-нет – еще до того! – возразил мистер Фиш. – Вы разве не слышали, отчего он залаял? Такой крик! Такой гвалт! Ну и ну! Настоящий тарарам!

Дело в том, что бабушка тогда, едва переведя дух, тоже закричала, и Лидия, столкнувшись с платяным шкафом, не замедлила к ней присоединиться. Оуэн потом сказал, что бабушка **ВЗВЫЛА, КАК БАНШИ**, хотя на самом деле ее крик не шел ни в какое сравнение с воплем самого Оуэна.

– Оуэну показалось, что он увидел ангела, – пояснил я мистеру Фишу.

– Видимо, это был не очень добрый ангел, Оуэн, а? – заметил мистер Фиш.

– **ВООБЩЕ-ТО НА САМОМ ДЕЛЕ Я ПРИНЯЛ МИССИС УИЛРАЙТ ЗА ПРИВИДЕНИЕ**, – признался Оуэн.

– А-а-а, ну тогда все совершенно ясно! – сочувственно протянул мистер Фиш; он боялся бабушки не меньше Оуэна – по крайней мере, когда разговор заходил о муниципальных правилах районирования или о дорожном движении на Центральной улице, он всегда старался ей поддакивать.

Странное выражение – «тогда все совершенно ясно!». Теперь я знаю: ничего нельзя считать совершенно ясным.

Потом я, конечно, расскажу все это Дэну Нидэму, среди прочего и о том, что Оуэн решил, будто помешал Ангелу Смерти и поэтому миссия ангела легла на его, Оуэна, плечи.

Я тогда не придавал значения тому, сколь *точно* Оуэн выражается, – той *буквальности*, что вообще-то не очень свойственна детям. Он потом еще много лет не раз повторит эту фразу: «**В ЖИЗНИ НЕ ЗАБУДУ, КАК ТВОЯ БАБУШКА ВЗВЫЛА, БУДТО БАНШИ**». Но я не обратил на это слово особого внимания; я что-то не помню, чтобы бабушка так уж сильно кричала, – что я запомнил, так это вопль самого Оуэна. К тому же я тогда подумал, что «**ВЗВЫЛА, БУДТО БАНШИ**», – это просто образное выражение; я не мог представить себе, чтобы Оуэн придавал бабушкиному крику какое-то особое значение. Должно быть, я все-таки повторил тогда Дэну Нидэму эти слова Оуэна, потому что однажды, много лет спустя, Дэн спросил меня:

– Ты говорил, Оуэн назвал твою бабушку «плачущей **БАНШИ**»?

– Он сказал, что она «взвыла, будто банши».

После этого Дэн достал с полки словарь; он долго цокал языком, покачивал головой и улыбался сам себе, приговаривая: «Ну парень! Ну парень! Умница – но с вывертом!» Вот тогда-то я и узнал, что означает «банши» в буквальном смысле. В ирландском фольклоре так называется женщина-призрак, своим душераздирающим воем предвещающая скорую смерть кого-то из близких.

Дэн Нидэм был, как всегда, прав: «умница, но с вывертом» – это очень меткое определение Гранитного Мышонка. Именно такой, по моему мнению, и был Оуэн Мини: «умница, но с вывертом». А с годами выяснится – как вы еще убедитесь, – что никакой это не выверт.

В нашем городе все – а в особенности мы, Уилрайты, – удивлялись, до чего это на маму не похоже – четыре года встречаться с Дэном Нидэмом, прежде чем согласиться выйти за него замуж. Как говаривала тетя Марта, и пяти минут мама не раздумывала, когда «согрешила» с незнакомцем из поезда, что привело к моему появлению на свет! Но, возможно, в том-то все и дело: если родные, вместе со всем Грейвсендом, и питали большие сомнения насчет маминой

нравственности – насчет того, что слишком уж легко, как казалось, ее можно склонить к чему угодно, – то продолжительные ухаживания Дэна Нидэма за моей мамой заставили всех кое-что понять. Было ведь очевидно с самого начала, что мама и Дэн влюблены друг в друга. Он был предан ей, она ни с кем больше не встречалась, они были помолвлены несколько месяцев, к тому же все видели, как я люблю Дэна. Даже бабушка, вечно обеспокоенная склонностью своей взбалмошной дочери попадать в какие-нибудь истории, потеряла всякое терпение оттого, что мама так тянула с назначением дня свадьбы. Дэн своим обаянием, которое мгновенно превратило его в любимца всей Академии, сумел очень быстро завоевать и мою бабушку.

Быстро завоевать мою бабушку не удавалось почти никому. И тем не менее она настолько поддавалась тому волшебству, которым Дэн завораживал актеров-любителей «Грейвсендских подмостков», что согласилась сыграть в «Верной жене» Моэма. Бабушка получила роль аристократки – матери обманутой жены, и оказалось, что она в совершенстве владеет той легкой манерой игры, что так необходима для салонной комедии, – особой светской утонченностью, без которой мы все прекрасно обходились. У нее даже обнаружился британский выговор, причем безо всякой подсказки со стороны Дэна, которому хватило ума догадаться, что британский выговор никак не мог полностью исчезнуть из глубин подсознания Харриет Уилрайт – просто требовался весомый повод, чтобы он всплыл наружу.

«Терпеть не могу отвечать прямо на прямые вопросы», – высокомерно заявляла бабушка словами миссис Калвер⁷, идеально попадая в роль. А в другой запоминающейся сцене, высказываясь по поводу любовной связи зятя с «лучшей подружкой» ее дочери, она заключала: «Если Джону так уж необходимо обманывать Констанс, пусть уж лучше делает это с кем-нибудь, кого мы все хорошо знаем». В общем, бабушка выглядела до того великолепно, что весь зал замирал от восторга; получился грандиозный спектакль, хотя большая часть сценического времени, на мой взгляд, совершенно зря ушла на жалких Джона и Констанс, которых невыразительно играли глуповатый мистер Фиш, наш сосед-собаколюб (Дэн неизменно давал ему первые роли), и мегера миссис Ходдл, чьи ноги – самое сексуальное, что в ней было, – почти полностью скрывались длинными платьями, подобающими салонной комедии. Бабушка объясняла свое перевоплощение в спектакле в эдакую жеманную скромницу тем, что просто всегда по-особому ощущала атмосферу 1927 года, – и я не сомневаюсь в этом: она, разумеется, была в то время красивой молодой женщиной, «и твоей маме, – говорила мне бабушка, – пожалуй, было тогда еще меньше лет, чем тебе сейчас».

Так почему же Дэн с мамой ждали целых четыре года?

Если даже они о чем-то спорили, пытались уладить какие-то разногласия, то я этого никогда не видел и не слышал. Может, поведя себя в первый раз столь неприлично, что и привело к моему появлению на свет (насчет чего она ни с кем не желала объясняться), мама просто хотела во второй раз повести себя сверхприлично? Колебался ли Дэн? Нет, не похоже, Дэн доверял маме абсолютно. Может, все дело во мне? – пытался понять я. Но я любил Дэна, и он давал мне понять, что тоже любит меня. Я точно знаю, что он любил меня; и теперь любит.

– Все дело в детях, да, Табита? – спросила бабушка как-то вечером за ужином, и мы с Лидией сразу замерли с любопытством в ожидании маминого ответа. – Наверное, он хочет еще детей, а ты нет? Или, может, наоборот? Мне кажется, Табита, тут ты не должна даже задумываться, – разве можно потерять такого милого и преданного мужчину!

– Мы просто хотим подождать, чтобы не было никаких сомнений, – сказала мама.

– Боже милостивый, сколько же вы еще будете ждать?! – нетерпеливо воскликнула бабушка. – Даже у меня уже давно нет никаких сомнений, и у Джонни тоже. А у тебя, Лидия? – спросила бабушка.

⁷ Здесь у автора неточность: эти слова произносит другой персонаж «Верной жены» Моэма, Барбара.

– Нет, у меня нет сомнений, – отозвалась Лидия.

– Дело не в детях, – сказала мама. – Да и вообще ни в чем.

– Да священнику рукоположиться проще, чем тебе выйти замуж, – сказала бабушка маме.

Насчет рукоположения – это у Харриет Уилрайт была любимая присказка; так говорилось по поводу чей-то непроходимой глупости, чьих-то собственноручно созданных трудностей, чьих-то поступков, нелепых либо противных человеческой природе. Бабушка имела в виду католического священника; я знаю, однако, что и наш с мамой возможный переход в епископальную церковь огорчал ее, в частности, тем, что в епископальной церкви у священников есть сан – всякие там дьяконы и епископы, – и даже у так называемых «низких» епископов, по мнению бабушки, гораздо больше общего с католиками, чем с конгрегационалистами. Хорошо хоть бабушка не очень много знала об англиканской церкви.

Все то время, пока Дэн с мамой встречались, они посещали и конгрегационалистские, и епископальные службы, словно осваивая тайком четырехгодичный курс теологии, – и мое знакомство с епископальной воскресной школой тоже шло постепенно. По маминому настоянию я начал посещать занятия там еще до того, как Дэн с мамой поженились, будто она заранее знала, куда нам предстоит перейти. Постепенно произошло и нечто другое: мама в конце концов совсем перестала ездить в Бостон на уроки пения. Я ни разу не уловил и намека на то, чтобы Дэна хоть самую малость беспокоил этот ее ритуал, хотя, помню, бабушка как-то спросила маму, не возражает ли Дэн, что она каждую неделю проводит ночь в Бостоне.

– С какой стати? – удивилась мама.

Ответ, которого так и не последовало, был на самом деле настолько же очевиден для бабушки, насколько и для меня: ведь самым вероятным кандидатом на роль моего неназванного отца и маминого таинственного любовника оставался «знаменитый» учитель пения. Но ни бабушка, ни я не отваживались напрямую высказать вслух эту догадку в присутствии мамы; а Дэна Нидэма, очевидно, ничуть не волновало то, что мама продолжала брать уроки пения и оставалась на ночь в Бостоне. Хотя, может быть, Дэн просто знал нечто такое, что было тайной для нас с бабушкой и что позволяло ему оставаться спокойным.

– ТВОЙ ОТЕЦ – НЕ УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ, – совершенно убежденно заявил Оуэн Мини. – ЭТО БЫЛО БЫ СЛИШКОМ ОЧЕВИДНО.

– Это ведь реальная жизнь, Оуэн, а не детектив, – возразил я ему.

Нигде ведь не написано, что в действительности мой неизвестный отец не может оказаться самым ОЧЕВИДНЫМ из подозреваемых. Но по правде говоря, мне тоже не верилось, что это учитель пения; просто он был *единственным*, кого мы с бабушкой могли подозревать.

– ЕСЛИ ЭТО ОН, ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТОГО ТАЙНУ? – спросил тогда Оуэн. – И ЕСЛИ ЭТО ОН, ТВОЯ МАМА МОГЛА БЫ ВИДЕТЬСЯ С НИМ ЧАЩЕ, ЧЕМ РАЗ В НЕДЕЛЮ, – ИЛИ НЕ ВИДЕТЬСЯ ВООБЩЕ?

Как бы там ни было, мне казалось маловероятным, что это из-за учителя пения мама и Дэн ждали целых четыре года, чтобы пожениться. И поэтому я пришел к заключению, которое Оуэн Мини назвал бы СЛИШКОМ ОЧЕВИДНЫМ: Дэн пытается разузнать обо мне побольше, а мама ему не позволяет. Ведь это же естественно – Дэн хочет знать, кто мой отец. А мама, разумеется, таких вещей ему рассказывать не станет.

Но и эта версия возмутила Оуэна не меньше.

– ТЫ ЧТО, НЕ ВИДИШЬ, КАК ДЭН ЛЮБИТ ТВОЮ МАМУ? – вопрошал он. – ОН ВЕДЬ ЛЮБИТ ЕЕ ТАК ЖЕ СИЛЬНО, КАК *МЫ*! ОН НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ЗАСТАВЛЯТЬ ЕЕ В ЧЕМ-ТО ПРИЗНАВАТЬСЯ!

Теперь-то я понимаю. Оуэн оказался прав. Тут было нечто иное – то, что на целых четыре года отодвинуло само собой разумеющееся событие.

Дэн происходил из очень влиятельной семьи; там все были врачи или юристы, и они порицали Дэна за то, что он не получил более основательного образования. Поступить в Гар-

вард и не продолжить потом обучение на юридическом или медицинском факультете – это просто-таки преступная лень. Родные Дэна были слегка заиклены на социальном статусе. Они неодобрительно относились к тому, что Дэн ограничился карьерой простого учителя подготовительной школы, как, впрочем, и к тому, что он занимался любительскими театральными постановками, – они считали, что подобные легкомысленные забавы не к лицу взрослому человеку. Они и к маме моей отнеслись неодобрительно – и после этого Дэн перестал с ними знаться. Они называли ее «разведенкой»; надо полагать, в родне Дэна никто никогда не разводился, так что для них это было худшим клеймом, каким только можно припечатать женщину, – хуже даже, чем назвать ее матерью-одиночкой, кем она вообще-то и была на самом деле. Наверное, слово «мать-одиночка» вызывает всего лишь жалость, в то время как в слове «разведенка» звучит скрытый смысл – это такая женщина, которая спит и видит, как бы охотмуть их драгоценного недотепу Дэна.

Я плохо помню само знакомство с родными Дэна: на свадьбе они предпочли держаться особняком. Бабушку возмутило, что нашлись люди, осмелившиеся смотреть на нее свысока – обращаться с ней как с какой-нибудь суетливой провинциалкой. Помнится, мать Дэна оказалась язвительной дамой, и, когда ей представили меня, она сказала: «А, *тот самый* ребенок». И затем последовало долгое молчание, пока она тщательно изучала мое лицо, – подозреваю, пыталась найти хоть какой-нибудь признак, указывающий на расу моего неизвестного предка по мужской линии. Но это все, что я помню. Дэн с тех пор прекратил с ними все отношения. Не хочется думать, что они сыграли какую-то роль в этой затянувшейся на четыре года «помолвке».

При всех расхождениях и противоречиях богословского свойства, церковь полностью одобряла предстоящую женитьбу Дэна и мамы; по сути, они снискали *двойное* одобрение – конгрегационалисты и епископалы буквально соревновались за право заполучить Дэна и маму именно в свое лоно. Для меня особой разницы не было: я, конечно, обрадовался возможности поднимать Оуэна вместе со всеми в воскресной школе, но на этом все преимущества епископальной церкви перед конгрегационалистской кончались.

Впрочем, различия между этими двумя церквями есть – и в архитектуре, и в общей атмосфере, о чем я уже упоминал, есть также различия в обрядности, которые делают епископальную службу гораздо более католической по сравнению с конгрегационалистской – КАТОЛИЧЕСКОЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, как сказал бы Оуэн. Но кроме того, была огромная разница между преподобным Льюисом Меррилом, который мне нравился, и преподобным Дадли Виггином, викарием епископальной церкви, воплощением серости и занудства.

Каюсь, на столь безапелляционное сравнение этих двоих меня в немалой степени подтолкнул снобизм, унаследованный от Харриет Уилрайт. У конгрегационалистов священники зовутся *пасторами* – и нашим пастором был преподобный Льюис Меррил. Если вы с пеленок слышите это уютное слово, вам трудно привыкнуть к *викариям* – а ведь в епископальной церкви проповедуют викарии, так что преподобный Дадли Виггин служил викарием в церкви Христа города Грейвсенда. Я разделял бабушкину неприязнь к слову «викарий» – в самом деле, разве можно его воспринимать всерьез, если в нем явственно слышится «виварий»?

Однако, будь даже преподобный Дадли Виггин пастором, я все равно вряд ли смог бы воспринимать его всерьез. Если преподобный Льюис Меррил следовал своему призванию с юности – он никогда не мыслил себя отдельно от церкви, – то преподобный мистер Виггин раньше служил летчиком гражданской авиации; но потом у него что-то случилось со зрением, и ему пришлось уйти в отставку раньше срока. Вскоре он обнаружил в себе другую страсть и приземлился в нашем недоверчивом городке, своей старательностью неофита здорово напоминая здоровых, но странноватых «лиц старшего поколения», которые из года в год стараются поучаствовать в каких-нибудь изнурительных спортивных состязаниях в категории «старше пятидесяти». Речь пастора Меррила выдавала просвещенного человека – он специализиро-

вался на английской филологии в Принстонском университете, слушал лекции Нибура и Тиллиха⁸ в Объединенной теологической семинарии в Нью-Йорке. Проповедь же викария Виггина здорово смахивала на предполетный инструктаж: он говорил без тени сомнения, словно гвозди в кафедру заколачивал.

Мистера Меррилла неизмеримо привлекательнее делало еще и то, что он был *полон* сомнений; он выражал *наши* сомнения очень красноречиво и к тому же благожелательно. На его совершенно ясный и убедительный взгляд, фабула Библии довольно запутанна, но при желании ее вполне можно понять: Бог творит нас от любви Своей, но мы или не желаем принять Бога, или не верим в Него, или не обращаем на Него внимания. И тем не менее Бог продолжает любить нас, – по крайней мере, Он старается привлечь к себе наше внимание. Пастор Меррил умел придать религии логику. В том-то вся и штука с верой, говорил он, что в Бога нужно верить, не ища каких-то особых или даже самых косвенных свидетельств того, что мир, в котором мы живем, не безбожен.

Хотя мистер Меррил знал все лучшие (или, по крайней мере, наименее скучные) библейские сюжеты, его проповеди были полны вопросов без ответов: он пытался убедить нас, что сомнения-то как раз и составляют суть веры и ни в коем случае не противоречат ей. Напротив, преподобный Дадли Виггин будто лично повидал нечто такое, что заставило его немедленно уверовать целиком и полностью, – возможно, пролетая где-то у самого Солнца. Викарий не отличался ораторским даром и был лишен сомнений или тревог в любом их проявлении; скорее всего, проблемы со «зрением», которые вынудили его уйти с летной работы, были просто неким эвфемизмом, означавшим ослепительность его религиозного обращения, потому что бесстрашие мистера Виггина достигало степени, слишком опасной для летчика и безумной для проповедника.

Даже выдержки из Библии были у него диковинные; ни один сатирик не смог бы подобрать их удачнее. Преподобный мистер Виггин питал особую слабость к выражению «твердь небесная»; оно присутствовало почти во всех его выдержках. А еще ему нравилось проводить аналогии между верой и *битвой*, в которой нужно яростно сражаться и побеждать. Вера, по его разумению, – это не что иное, как война с противниками этой самой веры. «Приимите всеоружие Божие!» – бушевал он, читая проповедь. Он наставлял нас, чтобы мы облеклись в «броню праведности»; наша вера, говорил он, – это «щит», который угасит «все раскаленные стрелы лукавого». Сам викарий заявлял, будто носит «шлем спасения». Все это из Послания к ефесянам – мистер Виггин был большой любитель «Ефесян». А еще он обожал Книгу пророка Исаии – особенно то место, где говорится о Господе, сидящем «на престоле высоком и превознесенном»; викарий очень любил потолковать о Господе, сидящем на троне. Вокруг Господа стоят серафимы. Один из них подлетает к Исаие, который жалуется, что он – «человек с нечистыми устами». Но, по словам Исаии, этому вскоре приходит конец: серафим прикладывает к его губам «горящий уголь», и Исаия снова чист, словно только что на свет родился.

Вот о таких самых неправдоподобных из библейских чудес нам приходилось постоянно слышать от преподобного Дадли Виггина.

– МНЕ НЕ НРАВИТСЯ ЭТОТ СЕРАФИМ, – пожаловался однажды Оуэн. – ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО – ПУГАТЬ ЧЕЛОВЕКА?

Но хотя Оуэн соглашался со мной, что викарий болван и только поганит Библию, запугивая робких прихожан всеми напастями от Господа сильного и страшного, хотя Оуэн признавал, что проповеди преподобного мистера Виггина примерно столь же увлекательны и убедительны, как голос летчика в переговорном устройстве, когда тот объясняет, что на борту возникли неполадки – в то время как самолет уже вошел в штопор и стюардессы визжат от

⁸ Речь идет об известных американских протестантских теологах: *Нибур* Рейнольд (1892–1971) – представитель диалектической теологии; *Тиллих* Пауль (1886–1965) – философ, близкий к экзистенциализму.

ужаса, – несмотря на все это, Оуэн, по сути, предпочитал Виггина пастору Меррилу по тому немногому, что знал о нем. Ведь Оуэн плохо знал пастора Меррила – он же никогда не был конгрегационалистом. Впрочем, Меррил как проповедник был настолько популярен в нашем городе, что прихожане других грейвсендских церквей часто пропускали свои службы, чтобы послушать его. Иногда это делал и Оуэн, но после всегда критиковал Меррила. Даже когда руководство Грейвсендской академии, отдавая должное незаурядному уму пастора, стало то и дело приглашать его читать проповеди во внеконфессиональной церкви при Академии, – даже тогда Оуэн не перестал его критиковать.

– ВЕРА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К РАЗУМУ, – ворчал он. – ЕСЛИ У НЕГО СТОЛЬКО СОМНЕНИЙ, ЗНАЧИТ, ОН ПРОСТО ЗАНИМАЕТСЯ НЕ СВОИМ ДЕЛОМ.

Но кто, кроме самого Оуэна Мини и викария Виггина, не ведал сомнений? В вопросах веры Оуэну не было равных, но мое восхищение мистером Меррилом и презрение к мистеру Виггину проистекало из здравого смысла. Я смотрел на них глазами истинного янки; все, что я унаследовал от многих поколений Уилрайтов, располагало меня к Льюису Меррилу и настраивало против Дадли Виггина. Мы, Уилрайты, никогда не пренебрегаем внешним впечатлением. Многое часто оказывается именно таким, каким выглядит. С первым впечатлением надо считаться. Чистый светлый храм конгрегационалистов с непорочно-белыми деревянными стенами и высокими прозрачными окнами, за которыми ласкали взгляд ветви деревьев на фоне неба, – вот что стало моим первым впечатлением, оставшимся навсегда; это был образец чистоты и осмысленности, с которым не сравниться епископальному сумраку каменных стен, гобеленов и витражных окон. И сам пастор Меррил тоже был привлекательный – напряженный, бледный, худощавый, словно от вечного недоедания. Иногда его мальчишеское лицо внезапно озаряла обаятельная смущенная улыбка – резкий контраст с почти постоянным выражением беспокойства, придававшим ему облик встревоженного ребенка. Непослушная прядь то и дело падала ему на лоб, когда пастор заглядывал в текст проповеди или склонялся над Библией, отчего он еще больше становился похож на мальчишку; нелады с прической были неизбежным следствием выраженного «вдовьего мысика» – так у нас называют волосы, растущие на лбу треугольником. А еще он вечно куда-то засовывал свои очки и потом никак не мог их найти, хотя, кажется, не очень в них и нуждался – он мог подолгу читать без них, мог спокойно общаться с кафедры со своими прихожанами (и при этом отнюдь не выглядел подслеповатым), а потом вдруг ни с того ни с сего принимался судорожно искать очки. Все это очень располагало к нему, как и то, что он слегка заикался, – мы начинали нервничать и переживать, что красноречие вдруг покинет пастора и он так и не сможет больше выговорить ни слова до конца жизни. Свои мысли он формулировал предельно ясно, хотя никогда не пытался показать, будто речь дается ему без усилий; напротив, он никогда не скрывал, какой тяжелый это труд – придать своим убеждениям вкупе с сомнениями внятный вид, говорить четко, несмотря на заикание.

А еще мы все жалели симпатичного мистера Меррила из-за его семейства. Жена пастора была родом из Калифорнии, солнечного края. Как неоднократно говорила бабушка, миссис Меррил – из породы тех загорелых, роскошных, цветущих блондинок, которым все это досталось в дар от природы, потому-то им и кажется, будто здоровье и неистощимая энергия для добрых дел есть лишь естественное следствие добродетельного и рационального образа жизни. Им никто не объяснил, что здоровье, жизнерадостность и природную красоту в плохом климате сохранить труднее. В Нью-Гэмпшире миссис Меррил страдала.

Как она страдала, видели все. Ее светлые волосы сделались похожи на сухую солому, щеки и нос приобрели оттенок сырой лососины, глаза постоянно слезились – она без конца простужалась, не пропуская ни единого вируса. Потерю роскошного калифорнийского загара она пыталась восполнить крем-пудрой, отчего ее кожа стала напоминать глину. Ей никак не удавалось загореть; успев за зиму побелеть до мертвенной бледности, летом она обгорала при первом же появлении на солнце. Вечные недомогания отнимали у нее жизненные силы; она

делалась все более вялой, здорово располнела и стала похожа на одну из тех женщин неопределенного возраста, которым с одинаковым успехом можно дать и сорок, и шестьдесят.

Все эти перемены произошли с миссис Меррил, когда ее дети были еще маленькими, и они тоже постоянно болели. Хотя учились они хорошо, но по болезни пропускали столько уроков, что им приходилось оставаться на второй год. Двое из них были старше меня, хотя и ненамного; одного ребенка даже перевели в мой класс – но кого именно, я не помню; даже не помню, мальчика или девочку. Это, кстати, тоже доставляло немало трудностей детям Меррилов – их было очень трудно запомнить. Если вы не видели их хотя бы пару недель, то при следующей встрече вам казалось, что в прошлый раз это были совсем другие дети.

Преподобный Льюис Меррил производил впечатление заурядного человека, который благодаря образованию и целеустремленности сумел подняться над собственной заурядностью; и сильнее всего это возвышение проявлялось в его ораторском даре. Однако печать заурядности, что лежала на его жене и детях, была до того тяжелой и безнадежной, что затмевала даже их исключительную предрасположенность к болезням.

Поговаривали, что у миссис Меррил проблемы со спиртным или что, по крайней мере, оно даже в небольших дозах действует на нее чудовищно из-за несовместимости со множеством ее лекарств. Кто-то из их детей однажды проглотил все таблетки, какие нашел в доме, и бедняге пришлось делать промывание желудка. Еще рассказывали, будто как-то раз после напутственной речи, которую мистер Меррил произнес в младшей группе воскресной школы, один из сыновей пастора дернул его за волосы и плюнул ему в лицо. А когда дети Меррилов стали постарше, кто-то из них осквернил могилы на кладбище.

Вот такой он был, наш пастор, – явно мыслящий человек, с явной отвагой вникающий во все наиболее спорные философские вопросы веры; и все-таки Господь столь же явно проклял его семейство.

По сравнению с пастором преподобный Дадли Виггин – *командир* Виггин, как называли его злые языки, – не вызывал и десятой доли того сочувствия и расположения. Это был жизнерадостный неунывающий здоровяк; с его лица никогда не сходила улыбка до ушей – даже не улыбка, а неугомонная ухмылка счастливчика. Он напоминал сбитого и чудом спасшегося летчика, ветерана воздушных боев и вынужденных посадок, – Дэн Нидэм рассказывал, что во время войны командир Виггин летал на бомбардировщике, а Дэну можно верить, потому что сам он служил шифровальщиком в чине сержанта в Италии и Бразилии. И даже Дэн приходил в ужас от той бестолковости, с какой Дадли Виггин ставил рождественские утренники, – а ведь Дэн куда снисходительнее оценивал любительские постановки, чем любой другой житель Грейвсенда. Дело в том, что мистер Виггин все время пытался привнести в рождественский мираклё элементы фильма ужасов, считая, что любой библейский сюжет следует понимать как грозное предостережение.

А уж жена викария явно ни от чего не страдала. Бывшая стюардесса, Розмари Виггин была нагловатой и развязной рыжей стервой; мистер Виггин звал ее Розой – она и сама так представлялась, когда обзванивала весь город, собирая какие-нибудь очередные благотворительные взносы: «Привет, это Роза Виггин! А мама или папа дома?»

Не знаю, кому как, но Оуэну от этой «розы» доставались все больше колючки, если не тернии: она, например, любила поднимать Оуэна за штаны – схватит одной рукой за ремень, упершись кулаком ему в живот, поднесет прямо к своему открытому, радостному профессионально-гладкому лицу стюардессы и сюсюкает: «Какой славенький пу-упсик! Даже и не думай вырасти!»

Оуэн ее на дух не переносил; он постоянно упрашивал Дэна, чтобы тот дал ей роль проститутки или совратительницы малолетних, однако в репертуаре грейвсендского любительского театра было не так уж много ролей подобного плана, а ни на какую другую, как признавал сам Дэн, она не годилась. Ее собственные дети были туповатыми, здоровенными крепышами,

упитанными до неприличия. Виггины любили всей семьей погонять мяч: они устраивали футбол каждое воскресенье прямо на лужайке возле церкви. И все-таки – невероятное дело! – мы перешли в епископальную церковь. Не из-за футбола, конечно, – ни Дэн, ни мы с мамой терпеть его не могли. Мне оставалось только догадываться, что, возможно, Дэн с мамой собирались завести общих детей, и Дэн хотел, чтобы их крестили в епископальной церкви – хотя, как я уже говорил, он не придавал особого значения всем этим церковным делам. Пожалуй, мама относилась к епископальной принадлежности Дэна гораздо серьезнее, чем он сам. Но единственное, что она мне говорила по этому поводу, – это то, что лучше нам всем быть в одной церкви и что для Дэна важнее быть в своей церкви, чем для нее – в своей. И в конце концов, разве мне не хотелось быть вместе с Оуэном? Чего уж там, конечно хотелось.

Спасибо Небесам за церковь Херда – такое не самое удачное название носила внеконфессиональная церковь при Грейвсендской академии. Его дали в честь основателя Академии, того самого бездетного пуританина, преподобного Эмери Херда. Не будь этой «нейтральной территории», моя мама могла бы невольно стать причиной межконфессионального конфликта – где еще ей было венчаться? Бабушка хотела, чтобы церемонию проводил преподобный Льюис Меррил; но ведь и у преподобного Дадли Виггина имелись все основания рассчитывать, что именно ему доверят совершить обряд.

К счастью, нашлось решение, приемлемое для всех. Как преподаватель Грейвсендской академии, Дэн Нидэм имел право воспользоваться услугами церкви Херда – особенно для таких важных мероприятий, как венчание и последовавшие вскоре похороны; для обоих этих случаев более деликатное решение трудно представить. Никто не помнил, какого вероисповедания был наш школьный священник, угрюмый пожилой джентльмен, что носил галстук-бабочку и то и дело ненароком наступал на полы своего церковного облачения тростью (он страдал подагрой). В церкви Херда он по большей части исполнял роль неназойливого конферансье, потому что сам редко читал проповеди; вместо этого он то и дело приглашал других проповедников, которые превосходили его самого в красноречии или полемичности. Кроме того, преподобный мистер Скаммон, прозванный «либералом», преподавал в Грейвсендской академии историю религии, и его уроки были известны тем, что начинались и заканчивались апологиями в адрес Кьеркегора; однако престарелый либерал мистер Скаммон и тут частенько ухитрялся передоверить свои полномочия приглашенным проповедникам. Ему неизменно удавалось уговорить священника, читавшего проповедь в воскресенье, остаться до понедельника и провести вместо него еще и уроки; остальные дни недели мистер Скаммон посвящал тому, что обсуждал со своими учениками все интересное, о чем рассказывал гость.

Серое гранитное здание церкви Херда, настолько невзрачное, что напоминало городскую регистрационную палату, библиотеку или водонапорную станцию, словно само подстроилось под подагрическую хромоту и унылый лик престарелого мистера Скаммона. Внутри церковь была темной и порядком обшарпанной, но при всем при том какой-то уютной – широкие, истертые до блеска скамейки так и манили вздремнуть прямо тут же; свет, поглощаясь гранитом стен, делался серым, но теплым; а акустика, которая, пожалуй, была единственным чудом в этой церкви, придавала звуку неповторимую чистоту и глубину. Здесь любая проповедь казалась внятней, любой гимн – отчетливее, любая молитва – полновочувственнее, а орган звучал мощно, как в большом кафедральном соборе. Закрыв на минуту глаза, – а церковь Херда располагала к этому, – вы вполне могли представить себе, что находитесь где-нибудь в Старом Свете.

Бесчисленные поколения учеников Грейвсендской академии вырезали на пюпитрах для молитвенников имена своих подружек и результаты футбольных матчей; а технические работники из поколения в поколение не успевали соскребать с этих пюпитров разнообразные непристойности, и при желании на деревянных планках, что придерживали потрепанные томики «Сборника гимнов Плимутской колонии», всегда можно было найти какие-нибудь свежие

заковыристые ругательства. Сумрак, царивший в церкви Херда, делал ее более подходящей для похорон, чем для венчания; но так уж случилось, что здесь прошли и мамино венчание, и мамины похороны.

Венчальное богослужение в церкви Херда пастор Меррил и викарий Виггин провели совместно, умудрившись избежать неловкостей – или, по крайней мере, открытого соперничества друг с другом. Старый мистер либерал Скаммон примирительно кивнул обоим священникам, дав знак к началу церемонии. За те элементы торжественной службы, что допускают импровизацию, отвечал мистер Меррил, который был краток и обаятелен, – лишь его привычное легкое заикание выдавало, как он волнуется. Пастор Меррил также должен был прочесть ту часть, что начинается с «Возлюбленные братья...». «Мы собрались здесь в присутствии Господа, чтобы засвидетельствовать и благословить священные узы брака...» – начал он, и я заметил, что в церкви уже полно народу – оставались только стоячие места. Преподаватели Академии шли косяками, и такими же косяками прибывали женщины бабушкиного поколения. Они появлялись всегда и везде, где только представлялась возможность поглазеть на бабушку, которая олицетворяла для них высший свет Грейвсенда. И было нечто особое в том, что именно ее дочь оказалась «падшей», а теперь воспользовалась моментом, чтобы вернуться в рамки пристойности. Этой Табби Уилрайт хватало наглости вырядиться в белое, – не сомневаюсь, именно так думали старые кошелки, что вечерами играли с бабушкой в бридж. Но по правде говоря, ощущение, что Грейвсенд буквально наводнили сплетни, пришло ко мне уже потом, задним числом. А тогда я просто дивился: надо же, как много пришло народу.

Текст молитвы отбубнил командир Виггин; не имея никакого понятия о знаках преподания, он либо вообще не делал пауз, либо останавливался прямо на середине предложения и так долго переводил дыхание, что вы уже начинали беспокоиться, не приставил ли ему кто-нибудь ко лбу дуло пистолета. «О Боже милостивый и бессмертный, Ты создал нас мужчинами и женщинами по образу и подобию Своему: взгляни же с милосердием на этого мужчину и эту женщину, что пришли испросить Твоего благословения, и ниспошли на них Свою благодать», – пыхтел он.

Затем между мистером Меррилом и мистером Виггином началось что-то вроде дуэли на цитатах, причем каждый стремился показать свое особое понимание подходящих отрывков из Библии: отрывки мистера Меррила были более «подобающими», зато отрывки мистера Виггина – более цветистыми. Викарий и тут не преминул вставить строчки из «Ефесян», напомним, что мы не должны забывать «Отца Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле»; затем он переключился на «Колоссян», зачитав нам то место, где говорится о любви, «которая есть совокупность совершенства», и завершил свою речь словами Марка: «...они уже не двое, но одна плоть».

Пастор Меррил начал с Песни Песней Соломона: «Большие воды не могут потушить любви...»; продолжил «Коринфянами» («Любовь долготерпит, милосердствует...») и закончил словами Евангелия от Иоанна: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас...» Тут Оуэн Мини громко высморкался, чем привлек к себе мое внимание; я только теперь заметил, что он сидит на довольно шаткой стопке молитвенников, дабы хоть что-нибудь разглядеть поверх голов Истмэнов, и в особенности дяди Альфреда.

А потом на Центральной улице в доме 80 состоялся торжественный прием. День выдался душный, сквозь дымку пробивалось жаркое солнце, и бабушка все сокрушалась, что ее розовому саду вовсе не полезна такая погода; розы и вправду, кажется, здорово поникли от жары. Это был один из тех дней, когда общее разморенное оцепенение может освежить разве что хорошая гроза; в тот день гроза казалась неминуемой, и по этому поводу бабушка тоже сокрушалась. Тем не менее буфетную стойку и столики вынесли на лужайку; мужчины один за другим принялись снимать пиджаки, закатывать рукава и ослаблять галстуки, но это мало

помогало, и пот все равно проступал сквозь рубашки. Бабушке особенно не понравилось, что мужчины побросали свои пиджаки на темно-зеленые кусты бирючины, окаймлявшие розовый сад, отчего всегда безупречная живая изгородь приобрела такой вид, будто на нее нанесло мусор со всего города. Некоторые женщины обмахивались веерами; самые решительные сбросили туфли на высоком каблуке и разгуливали по траве босиком.

Кто-то предложил устроить танцы на кирпичной террасе, но это предложение потонуло в спорах насчет подходящей музыки – ну и хорошо, решила бабушка, имея в виду: нечего танцевать в такую духоту.

Впрочем, так и должно быть на летней свадьбе – зной и неуловимое очарование, отступающее под натиском непобедимой жары. Дядя Альфред выкаблучивался передо мной и своими детьми, опрокидывая в себя одним махом один стакан пива за другим. Слонявшийся по соседней улице гончий пес – вообще-то он принадлежал недавно поселившемуся там семейству – забрел в сад и стащил с десертного столика несколько кексов. Мистер Мини, застывший в цепочке поздравляющих, словно у него в карманах лежало по куску гранита, густо покраснел, когда пришла его очередь целовать невесту.

– Свадебный подарок у Оуэна, – пояснил он, отведя взгляд. – У нас с ним общий подарок.

Мистер Мини и Оуэн единственные из всех приглашенных были одеты в темные костюмы; и Саймон съязвил по поводу неуместно торжественного наряда Оуэна – словно для воскресной школы.

– Ты прямо на похороны вырядился, Оуэн.

Обиженный Оуэн надулся.

– Да ладно, я пошутил, – сказал Саймон.

Но Оуэн все равно продолжал дуться; он прошел на террасу и деловито переставил все свадебные подарки так, чтобы их с отцом сверток оказался в центре. Он был упакован в оберточную бумагу, разрисованную рождественскими елками, формой и размером напоминал кирпич, и поднять его Оуэн мог только двумя руками. Я не сомневался, что это кусок гранита.

– Это же, наверно, его единственный костюм, ты, придурок! – сказала Хестер Саймону; они начали ругаться.

В тот день я впервые увидел Хестер в платье; она была очень хороша. Платье – ярко-желтое, Хестер – загорелая; ее черная буйная грива напоминала куст шиповника под палящим солнцем. Но видимо, столь ответственное мероприятие, как свадьба на открытом воздухе, обострило ее рефлексy. Когда Ной попытался напугать сестру, сунув ей под нос пойманную жабу, Хестер схватила бедное животное и запустила прямо в физиономию Саймону.

– Да ты же угробила ее, Хестер, – укоризненно заметил Ной, склонившись над распростертой жабой и выказывая гораздо больше сочувствия к ней, нежели к лицу родного брата.

– Сам виноват, – огрызнулась Хестер. – Ты первый начал.

Бабушка заранее постановила не пускать гостей в туалеты на верхнем этаже; внизу же их было всего два, и, как и следовало ожидать, у дверей, на которых висели картонные таблички с надписями «джентльмены» и «леди», начертанными Лидией от руки, выстроились очереди, причем к двери «леди» – гораздо длиннее.

Хестер попыталась воспользоваться верхним этажом – на том простом основании, что она «своя» и потому правила для гостей на нее не распространяются, – но тут же услышала от тети Марты, что она ничем не лучше остальных и потому будет стоять в общей очереди. Защищая демократические устои, тетя Марта, как и многие американцы, превращалась в сущего тирана. Мы с Ноем, Саймоном и Оуэном хвастались, что можем пописать в кустах, и тогда Хестер, чтобы последовать нашему примеру, попросила о маленьком одолжении. Один из нас должен был покараулить, чтобы какой-нибудь другой страждущий не спугнул ее в зарослях бирючины в самый интересный момент. А еще она попросила подержать ее трусики. Братья, естественно, заартачились и не замедлили поиздеваться в том духе, что они всю жизнь только

об этом и мечтали. Я, как всегда, слишком долго соображал, что бы ответить, и в конце концов Хестер просто освободилась от мешавшей ей детали туалета и протянула свои белые хлопчатобумажные трусики Оуэну Мини.

Можно было подумать, что она ткнула ему в руки живого броненосца; на его маленьком лице отразилась смесь искреннего любопытства и крайнего замешательства. Но уже в следующую секунду Ной вырвал трусики из рук Оуэна, а Саймон тут же вырвал их из рук брата и натянул Оуэну на голову. Надо сказать, они пришлись ему как раз впору; его изумленная физиономия таращилась через отверстие для одной из внушительных ляжек Хестер. Отчаянно покраснев, он стащил трусы с головы, но, попытавшись засунуть их в боковой карман пиджака, обнаружил, что карманы зашиты. Оуэн надевал этот костюм в воскресную школу уже несколько лет, но никто до сих пор не распорол ему карманы; а может, он думал, что они и должны быть зашиты. Не растерявшись, однако, он засунул трусики во внутренний карман, отчего на груди у него образовалась довольно объемистая выпуклость. Но это было все же лучше, чем носить их на голове, тем более что в следующую минуту к нему подошел отец, и Ной с Саймоном принялись шаркать ногами по разросшейся траве и шуршать ветками бирючины, стараясь заглушить характерное журчание, доносившееся из кустов.

Мистер Мини покачивал в руке бокал с шампанским, в котором плавал маринованный огурчик размером с его толстый указательный палец. Он не отпил ни глотка; кажется, ему доставляло удовольствие просто наблюдать, как огурчик плавает в шампанском.

– Я собираюсь домой, Оуэн. Поехали со мной? – спросил мистер Мини.

Он еще в начале торжества извинился, что не сможет пробыть долго, хотя мама и бабушка были здорово удивлены, что он вообще приехал. В обществе он чувствовал себя довольно стесненно. Его простой темно-синий костюм был сшит из дешевой ткани той же выделки, что и у Оуэна; правда, этому костюму, пожалуй, все же повезло больше: мистера Мини не поднимали в нем на руках в воскресной школе. Мне не удалось разглядеть, остались его боковые карманы зашитыми или нет. У Оуэна же на манжетах и штанинах виднелись стигбы, – видно, костюм сначала подворачивали, а потом отпустили, хотя и совсем ненамного: Оуэн рос со скоростью чахлого деревца.

– Я ХОЧУ ОСТАТЬСЯ, – ответил Оуэн.

– Ну гляди, у Табби ведь сегодня свадьба – ей недосуг будет отвозить тебя домой.

– Наша мама или папа отвезут Оуэна, сэр, – сказал Ной.

Вообще и Ною, и Саймону, и Хестер – как бы резко и грубо они ни вели себя с другими детьми – привили вежливость в общении со взрослыми; и мистера Мини, кажется, слегка удивила приветливость Ноя. Я представил ему своих братьев, но заметил, что Оуэну не терпится побыстрее увести отца куда-нибудь подальше, – он, верно, опасался, что Хестер в любой момент вылезет из кустов и потребует трусы.

Мистер Мини приехал на своем пикапе одним из первых, и теперь подъездная аллея оказалась запруженной машинами других гостей. Мы с Оуэном пошли вместе с мистером Мини, чтобы помочь ему найти этих водителей. Мы зашагали через лужайку и были уже довольно далеко от кустов, когда я, оглянувшись, увидел, как из темно-зеленых зарослей бирючины высунулась голая рука Хестер.

– Ну-ка отдавай их обратно! – сказала она, и Ной с Саймоном тут же принялись дразнить ее.

– Чего тебе отдать? – изгалялся Саймон.

Мы с Оуэном переписали номера машин, что перекрыли дорогу пикапу мистера Мини, после чего я отнес список бабушке – она любила делать объявления голосом миссис Калвер из «Верной жены» Моэма. Прошло некоторое время, пока мы наконец расчистили проезд для мистера Мини; после того как он уехал, Оуэн почувствовал себя заметно свободнее.

В руке у него остался почти полный бокал шампанского, которое я ему посоветовал не пить: я был уверен, что оно отдает маринованным огурцом. Мы вернулись к дому и стали разглядывать свадебные подарки, пока я наконец не обратил внимание на подарок Оуэна, лежавший на самом видном месте.

– Я САМ ЕГО СДЕЛАЛ, – сказал он. Сперва я подумал, что он имеет в виду оберточную бумагу, разрисованную рождественскими елками, но вскоре понял, что он сделал сам подарок. – ПРАВДА, ОТЕЦ ПОМОГ МНЕ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ КАМЕНЬ, – признался Оуэн.

Боже милостивый, подумал я, так это и вправду гранит!

Оуэн огорчился, узнав, что новобрачные решили распаковать подарки лишь после свадебного путешествия, но все равно не сказал мне, что у него за подарок. У меня будет еще много лет, чтобы рассмотреть его как следует, пояснил Оуэн. Разумеется, он оказался прав.

Это был кусок самого лучшего гранита, по форме напоминавший кирпич. «ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, КАК ДЛЯ ПАМЯТНИКА. НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ДОБЫВАЮТ В БАРРЕ», – говорил потом Оуэн. Он сам его вырезал, сам отполировал, сам снял фаску; даже надпись выгравировал сам. Он трудился над подарком после школы и по выходным в мастерской по изготовлению памятников. То, что у него вышло, было похоже на надгробие для любимого питомца – в крайнем случае, на памятную плиту для мертворожденного ребенка, но больше все-таки для какого-нибудь кота или хомячка. Предполагалось, что камень должен лежать плашмя, как буханка хлеба, так, чтобы сверху была видна выгравированная надпись, обозначающая примерную дату маминой с Дэном свадьбы:

ИЮЛЬ

1952

То ли Оуэн не был уверен насчет точной даты, то ли выгравировать число означало еще немало часов работы – а может, это нарушило бы сложившийся у него в голове эстетический замысел, – не знаю. Для пресс-папье камень был слишком велик и тяжел. Оуэн хоть позже и предлагал для него именно такое применение, однако согласился, что удобнее его использовать как дверной упор. Долгие годы, прежде чем отдать камень мне, Дэн Нидэм исправно подставлял его под дверь и частенько об него спотыкался, сбивая пальцы на ногах. Однако чем бы этот подарок ни служил, он должен был всегда лежать на виду – так, чтобы Оуэн обязательно замечал его всякий раз, когда приходил в гости. Он очень гордился своей работой, да и мама обожала этот подарок. Мама вообще обожала Оуэна; подари он ей хоть надгробную плиту с пустым местом для даты смерти – маме бы и это понравилось. Впрочем, мне кажется (и Дэну тоже), Оуэн, по сути, и подарил ей надгробную плиту. Он делал ее в мастерской для изготовления памятников, работал специальными инструментами для могильных плит; и пусть там стояла дата маминой свадьбы, – в сущности, это было миниатюрное надгробие.

И хотя мамина свадьба получилась очень веселой, и даже бабушка проявляла невиданную снисходительность к молодым и не очень молодым подвыпившим гостям, которые буквально ходили на головах, – но закончился праздник ужасной грозой, больше подходящей для похорон.

Завладев трусиками Хестер, Оуэн повел себя довольно игриво. Он был не из тех, кто смело держится с девчонками, и только идиот – или Ной с Саймоном – смог бы смело держаться с Хестер. Однако Оуэн ухитрился все время находиться в толпе, так что Хестер было неловко забрать у него трусики. «Отдай их обратно, слышишь, Оуэн!» – шипела она ему.

– ДА-ДА, КОНЕЧНО, ОНИ ТЕБЕ НУЖНЫ? – отвечал он и засовывал руку за пазуху, стоя между тетей Мартой и дядей Альфредом.

– Не здесь! – угрожающе говорила она.

– А, ТАК ОНИ ТЕБЕ, ЗНАЧИТ, НЕ НУЖНЫ? МОЖНО, Я ОСТАВЛЮ ИХ СЕБЕ? – невинно спрашивал он.

Хестер ходила за ним по пятам весь день; и мне кажется, сердилась она совсем чуть-чуть – и то, может, понарошку. Это был самый настоящий флирт, я даже слегка заревновал, и продолжался он так долго, что Ной с Саймоном в конце концов надоело и они пошли запасаться конфетти, чтобы как следует подготовиться к мамину с Дэном отъезду.

Отъезд состоялся раньше, чем предполагалось: только-только начали резать свадебный торт, как началась гроза. Небо быстро потемнело, и поднявшийся ветер принес первые легкие капли дождя, но, когда сверкнула молния и загредел гром, ветер вдруг стих, и на землю отвесно обрушилась стена воды. Гости ринулись в дом; бабушке быстро надоело предупреждать их, чтобы вытирали ноги. Нанятые для свадьбы официанты бросились убирать буфетную стойку и столики с угощением; они натянули тент, которым накрыли половину террасы; однако свадебные подарки, не говоря уже о тарелках и бокалах, под ним все равно не уместились. Мы с Оуэном помогли перенести подарки в дом. Мама с Дэном убежали наверх, чтобы переодеться и снести вниз свои вещи. Дядю Альфреда попросили подогнать «бьюик», который не слишком обезобразили побрякушками, как это обычно делают с машинами для новобрачных; лишь на задней двери было наискосок выведено мелом: «Молодожены», но, пока мама с Дэном спустились вниз, одетые по-дорожному и с сумками в руках, половину букв уже смыло дождем.

У окон, выходящих на подъездную аллею, столпились многочисленные гости, чтобы посмотреть, как молодожены будут отъезжать в свадебное путешествие; однако из-за непогоды момент оказался несколько смазанным. Когда вещи загружали в машину, дождь припустил еще сильнее; дядя Альфред, исполнявший обязанности камердинера, промок до нитки. Ной с Саймоном умудрились заграбастать все заготовленное конфетти, и потому, кроме них, осыпать молодоженов было некому; больше всего конфетти, однако, досталось их отцу, – наверное, потому, что он был самым мокрым: разноцветные бумажные кружочки облепили дядю Альфреда с головы до ног, мгновенно сделав его похожим на клоуна.

Из окон дома номер 80 доносились ликующие возгласы, но бабушка хмурилась. Беспорядок досаждал ей; бедлам есть бедлам, пусть даже все кругом веселятся и получают удовольствие; но непогода есть непогода, даже если никому до этого нет дела. А тут еще эти «старые кошелки» не спускают с нее глаз. (Интересно, как ее королевское величество будет вести себя под дождем? Так ей и надо, этой Табби Уилпрайт, – будет знать, как напяливать белое платье.) Тетя Марта отважилась выбежать под дождь, чтобы обнять и поцеловать маму и Дэна; Ной с Саймоном и ее тут же забросали конфетти с головы до ног.

Затем, так же внезапно, как несколько минут назад стих ветер и разразился ливень, на смену ливню пришел град. В Нью-Гэмпшире даже от июля можно ждать чего угодно. Градины отскакивали от «бьюика» пулеметными очередями, и Дэн с мамой поспешно запрыгнули в машину. Тетя Марта завизжала и накрыла голову руками; они с дядей Альфредом убежали в дом. Даже Ной с Саймоном почувствовали, как больно бьют эти ледышки, и тоже укрылись в доме. Кто-то крикнул, что градом разбило бокал с шампанским, оставленный на террасе. Градины лупили с такой силой, что гости, столпившиеся возле окон, даже отступили назад, подальше от стекол. Тут мама опустила окно в машине; я подумал, она хочет помахать на прощание, но она подозвала меня. Я накинул на голову пиджак, но он оказался слабой защитой: одна из градин размером с перепелиное яйцо ударила меня в локоть так, что я чуть не взвыл от боли.

– Ну, до свиданья, солнышко! – Мама притянула мою голову к себе через окно машины и поцеловала. – Бабушка знает, куда мы едем, но я попросила ее не говорить тебе без особой надобности.

– Счастливо! – сказал я.

Оглянувшись на дом, я увидел, что каждое из окон нижнего этажа представляет собой групповой портрет, – за мной и счастливыми молодоженами наблюдало множество лиц. Почти все глядели на нас; лишь два грейвсендских святых отца не смотрели ни на меня, ни на ново-брачных. Каждый из них стоял в одиночестве у своего маленького окна с противоположных концов дома – преподобный Льюис Меррил и преподобный Дадли Виггин вглядывались в небо. Может, они усматривали в этой буре с градом некий божественный смысл? Мне казалось, с викарием Виггином все просто: он наверняка оценивает обстановку как пилот, – верно, думает, что дрянь денек, погода нелетная. Но пастор Меррил, конечно, искал ненастью небесную первопричину. Нет ли в Священном Писании указаний на тайный смысл града? В своем рвении продемонстрировать знание подобающих библейских цитат ни один из священников не догадался прочесть маме и Дэну самое обнадеживающее благословение из Книги Товита – то, где говорится: «И дай мне состариться с нею...»

Да, что и говорить, жаль, что ни один из них не вспомнил об этом отрывке, но ведь апокрифические книги обычно не включаются в протестантские издания Библии. Не суждено было Дэну с мамой состариться вместе: до того дня, когда ее путь пересекся с траекторией мяча, отбитого Оуэном Мини, оставался всего год.

Я уже входил в дом, когда мама позвала меня снова. «Где Оуэн?» – спросила она. Я не сразу отыскал его среди множества лиц в окнах, потому что он был наверху, в маминной спальне. Рядом с ним стояла женская фигура в красном платье – мамин двойник, ее портновский манекен. Теперь-то я знаю, что в тот день в доме 80 на Центральной улице посвященных было *трое* – трое, всецело поглощенных погодой. Оуэн тоже не смотрел на отъезжающих молодоженов – он тоже вглядывался в небо, приобняв манекен за талию и свесив руку на его бедро; его сосредоточенное встревоженное лицо было устремлено вверх. Если бы я знал тогда, какого ангела он там высматривает... Но день тот выдался суматошный: мама попросила найти Оуэна – и я просто сбегал наверх и привел его. На град он, казалось, не обращал никакого внимания; льдинки отскакивали от крыши автомобиля и рассыпались вокруг, но я не заметил, чтобы хоть одна из них угодила в Оуэна. Он сунул голову в окно, и мама поцеловала его. Затем она спросила, как он доберется до дому. «Не идти же пешком в такую погоду, Оуэн. И на велосипеде не проехать, – сказала она. – Прокатимся с нами?»

– В СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ? – спросил он.

– Залезай, – скомандовала мама. – Мы с Дэном тебя подбросим.

Оуэн обрадовался невероятно; подумать только, отправиться вместе с моей мамой в свадебное путешествие – пусть даже он проедет с молодоженами совсем чуть-чуть! Он попытался протиснуться в машину мимо мамы, но его мокрые брюки прилипли к ее юбке.

– Погоди-ка, – сказала мама. – Выпусти меня и полезай вперед.

Она решила, что он, такой маленький, запросто поместится между сиденьями, верхом на кожухе карданного вала; но стоило маме на одно мгновение вылезти из «бьюика», как от крыши автомобиля тут же отскочила здоровенная градина и стукнула ее прямо между глаз.

– Ай! – вскрикнула она, схватившись за лоб.

– ПРОСТИТЕ, Я НЕ ХОТЕЛ! – поспешно выпалил Оуэн.

– Давай-давай, залезай, – смеясь, ответила мама.

И машина медленно тронулась.

Хестер только тут сообразила, что Оуэн улизнул с ее трусами.

Она выбежала на подъездную аллею и остановилась, подбоченясь и уставившись на медленно отъезжающий автомобиль. Дэн с мамой, не оборачиваясь, высунули руки из окон и замалхали на прощание, рискуя заработать синяки. Оуэн развернулся, сидя между ними, и посмотрел назад; по его лицу расплзлась ухмылка до ушей, в руках мелькнуло что-то белое, и мне стало совершенно ясно, чем он помахал Хестер на прощание.

– Эй, ты, ворюга несчастный! – крикнула Хестер.

Но тут град снова сменился дождем; Хестер, не успев уйти с подъездной аллеи, в мгновение ока промокла насквозь – и желтое платье облепило ее так плотно, что все тут же очень хорошо увидели, чего на ней не хватает. Она со всех ног бросилась в дом.

– Послушайте, барышня, – обратилась к ней тетя Марта, – а где ваши...

– Силы небесные, Хестер!.. – воскликнула потрясенная бабушка.

Но силы небесные сейчас были явно заняты другим. И все эти бабушкины знакомые «старые кошелки», разглядывая Хестер, должно быть, думали: пусть это и дочка Марты, но скоро она, видно, переплюнет и Табби.

Саймон с Ноем собирали градины, пока те окончательно не растаяли под вновь припущившим дождем. Я выбежал на улицу и присоединился к братьям. Они стали швырять в меня ледышками покрупнее; тогда я пополнил собственные боеприпасы и открыл ответный огонь. Меня удивило, до чего они холодные, эти градины, – будто прилетели на землю откуда-то из другого мира, где царит вселенский холод. Сжимая в руке градину размером со стеклянный шарик для настольной игры и чувствуя, как она тает в моей ладони, я поразился еще и ее твердости – она была твердая, как бейсбольный мяч.

Мистер Чикеринг, славный толстый тренер и менеджер нашей бейсбольной команды – тот самый, который решил тогда, что Оуэн должен бить вместо меня, который подбадривал Оуэна словами: «Отбивай, малыш!» – тот самый мистер Чикеринг сегодня доживает свои последние дни в интернате для ветеранов армии на Корт-стрит. Время от времени, с каждым приступом болезни Альцгеймера, на него налетает шквал разрозненных образов, оставляя его в возбужденном оцепенении, но начеку. Словно человек, сидящий под деревом, на котором гроздьями висят мальчишки и швыряются желудями; бедняга, кажется, уже приготовился, что ему в любую секунду засветят желудем в голову, даже сам этого ждет; но притом понятия не имеет, с какой стороны они на него обрушатся, несмотря на ощущение твердого ствола за спиной. Когда я прихожу к нему – как раз во время обстрела желудями, причем некоторые достигают цели, – он тут же приободряется. «Подаешь следующим, Джонни!» – весело приветствует он меня. А однажды он сказал: «Оуэн бьет вместо тебя, Джонни!» Но бывает и так, что он где-то совсем далеко; может, в эту секунду поворачивает мамино лицо к земле, не забыв прежде закрыть ей глаза; а может, поправляет задравшуюся юбку и складывает вместе ее раздвинутые колени – из соображений пристойности. Как-то однажды он вроде бы вообще не узнал меня – в тот раз мне так и не удалось завязать с ним более-менее осмысленную беседу, – и лишь когда я уже уходил, он выдал совершенно отчетливую фразу. Печальным, задумчивым голосом он произнес: «Не надо тебе на нее смотреть, Джонни!»

На маминых похоронах, когда все собрались в церкви Херда, мистер Чикеринг совершенно расстроился. Я почти уверен, что, поправляя безжизненное тело моей мамы, он прикасался к ней в первый и единственный раз. Воспоминания об этом, а также о расспросах шефа полиции Пайка насчет «причины смерти» и «орудия убийства» определенно вывели мистера Чикеринга из равновесия; на похоронах он плакал навзрыд, словно скорбя о кончине самого бейсбола. Естественно, не только мы с Оуэном навсегда распрощались с нашей детской командой, а заодно и с этой дьявольской игрой. Другие члены команды воспользовались при- скорбным происшествием как предлогом избавиться от утомительной принудилочки, больше отвечавшей представлениям родителей о том, что «полезно» для детей, чем их собственному выбору. Мистер Чикеринг, который всегда оставался удивительно добросердечным человеком, постоянно учил нас, что, когда мы выигрываем, мы выигрываем всей командой; и когда мы проигрываем, то проигрываем тоже всей командой, так что теперь мы, на его взгляд, всей командой *убили* маму; но плакал он на своей скамейке так, словно его доля в командной ответственности весила гораздо больше нашей.

Он попросил некоторых моих товарищей по команде вместе с родителями сесть рядом с ним. Среди них был несчастный Гарри Хойт – тот самый, что заработал базу на болах при двух аутах и внес свой собственный, пусть и совсем маленький, вклад в то, чтобы Оуэн встал с битой на плиту. В конце концов, Гарри мог сделать последний аут – и в этом случае мама, как обычно, увезла бы нас с Оуэном домой. Но Гарри заработал переход на базу. Теперь он сидел в церкви Херда и как замороженный смотрел на слезы мистера Чикеринга. Гарри был почти не виноват. Мы безнадежно проигрывали, шел последний иннинг, и притом у нас уже было два аута – Гарри не имело никакого смысла зарабатывать переход. Что могла изменить та дополнительная база? Лучше бы Гарри махнул битой как придется, и все.

Во всех других отношениях он был вполне безобидным существом, хотя и принес потом своей матери немало горя. Его отец рано умер, а мать долгие годы работала на газовом заводе секретаршей на телефоне. Она принимала все звонки с жалобами на ошибки в счетах и на утечки газа. Гарри никогда не рассматривался как кандидат в Грейвсендскую академию. Он исправно отучился в обычной грейвсендской средней школе и пошел служить военным моряком – в Грейвсенде флот привлекал многих. Мать попыталась освободить Гарри от службы на том основании, что она вдова и нуждается в сыновней помощи. Но, во-первых, у нее имелась постоянная работа, а во-вторых, Гарри сам рвался служить во флоте. Он стыдился непатриотичного поступка матери; вполне возможно, он впервые в жизни решился пойти наперекор и сумел настоять на своем – и попал во Вьетнам, и погиб там от укуса ядовитой змеи, которых полно в тех краях. Это была цепочная гадюка; она укусила Гарри, когда он мочился под деревом. Позже выяснилось, что дерево это стояло рядом с борделем, откуда Гарри вышел пописать, пока ждал своей очереди. Совершенно в его духе – сделать неверный ход, когда вообще ходить не нужно.

После смерти Гарри его мать ударилась в политику – по крайней мере, в масштабах Грейвсенда. Она называла себя пацифисткой и объявила, что будет давать у себя на дому бесплатные консультации, как уклониться от призыва. Вряд ли кому-то удалось неопровержимо доказать, что эти вечерние собрания с обсуждением тонкостей призывных законов настолько утомляли ее, что она стала плохо справляться со своими обязанностями секретарши на газовом заводе, – и тем не менее ее уволили. Нескольких особо рьяных местных патриотов задержали, когда они пытались раскурочить ее машину и гараж. Она не настаивала на привлечении их к ответственности; тем временем людская молва уже всю трубила, будто миссис Хойт разлагает молодежь. Несмотря на заурядную, даже невзрачную внешность, ее обвиняли в совращении нескольких молодых людей, пришедших к ней за консультацией. В конце концов ей пришлось покинуть Грейвсенд. По-моему, она переехала в Портсмут; это довольно далеко. Я помню ее на маминых похоронах; она сидела отдельно от своего сына Гарри, который устроился рядом с мистером Чикерингом, – наш тренер сумел собрать на скамейках вокруг себя всю команду. Миссис Хойт никогда не был присущ командный дух – в отличие от Гарри.

Насколько я помню, именно от миссис Хойт я впервые услышал, что критиковать конкретного американского президента – не значит вести антиамериканскую пропаганду, что критиковать политику США по конкретному вопросу – не значит быть врагом отечества и что выступать против нашего вмешательства в конкретную войну против коммунистов – не значит встать на сторону коммунистов. Однако эти различия остались неведомы большинству жителей Грейвсенда; они и сегодня неведомы очень многим моим бывшим соотечественникам.

Я не помню на маминых похоронах Баззи Тэрстона. А ему следовало присутствовать там. После того как Гарри Хойт заработал переход, Баззи Тэрстону предстояло сделать третий аут. Он как-то коряво отбил мяч в землю – более верного аута я в жизни не видел; но шорт-стоп умудрился прошляпить этот мяч. На его ошибке Баззи Тэрстон заработал базу. Кто играл тогда за шорт-стопа? Ему тоже стоило бы прийти в церковь Херда.

Возможно, Баззи не пришел потому, что был католиком; так предположил Оуэн, но ведь на похороны пришло много католиков, так что Оуэн просто-напросто выказал в очередной раз свое предвзятое мнение. И вполне возможно, я несправедлив к Баззи; может, он и приходил, – в конце концов, церковь Херда была битком набита; туда пришло примерно столько же народу, сколько на мамину свадьбу. И все бабушкины знакомые «старые кошелки» тоже явились. Я знаю, на что они пришли поглядеть: как, интересно, ее королевское величество воспримет *это*? Что Харриет Уилрайт ответит Судьбе с большой буквы? Что – Случайности – тоже с большой буквы? Что – Воле Божьей (если считать это ее проявлением)? Все те же «старые кошелки», черные и сгорбленные, точно вороны на добычу, собрались на службу словно только для того, чтобы сказать: «Свидетельствуем, Господи, что Табби Уилрайт не было дозволено слишком дешево отделаться».

«Дешево отделаться» считалось в Нью-Гэмпшире самым страшным преступлением. И по тому, как, нахохлившись по-птичьи, «старые кошелки» бросали по сторонам настороженные взгляды, я мог понять, что, по их мнению, маму настигло справедливое воздаяние.

Баззи Тэрстону, приходил он на похороны или нет, тоже не суждено было дешево отделаться. Честное слово, я не испытывал к нему никакой неприязни – особенно после одного происшествия в приходской школе Святого Михаила, когда мы с Оуэном чуть не поцапались с одноклассниками Баззи, тоже католиками, и Баззи вступился за Оуэна. Но и Баззи понес суровую кару за то, что мы заработали базу и Оуэн взял в руки биты (если считать это карой). Он тоже не претендовал на поступление в Грейвсендскую академию; однако по окончании средней школы ему разрешили проучиться год в Академии за успехи в спорте (типичный новоанглийский комплект для открытого воздуха – футбол, хоккей и бейсбол); причем выезжал Баззи отнюдь не всегда на ошибках соперника.

Блистать он ни в чем не блистал, однако сумел поступить в университет штата, где играл в сборных по трем видам спорта. Повредив колено, Баззи пропустил целый год соревнований и потом ухитрился добиться, чтобы ему предоставили дополнительный, пятый год учебы. Тем самым он продлил себе академическую отсрочку от армии еще на год, после чего все равно подпадал под призыв. Однако поездка во Вьетнам ему по-прежнему не улыбалась, и он отчаянно искал способа ее избежать, старательно протравливая свой организм в ожидании призывной комиссии. Две недели подряд каждый день выпивал по литровой бутылке виски; он выкуривал столько марихуаны, что от его волос разило, словно из шкафчика с сушеными травками; он чуть не сжег родительский дом, когда сушил в духовке кактус пейот, а потом попал в больницу с расстройством кишечника, после того как, наглотавшись ЛСД, вообразил, будто его гавайка съедобна. Много ему съесть, правда, не удалось, но среди прочего он успел проглотить пуговицы и содержимое карманов – спички, упаковку папиросной бумаги и скрепку.

Благодаря провинциальной наивности грейвсендской призывной комиссии Баззи объявили негодным к службе по психиатрическим показаниям, чего этот плут, собственно, и добивался. К несчастью, он всерьез увлекся виски, марихуаной, пейотом и ЛСД; он настолько пристрастился к этим делам, что однажды ночью на полном ходу врезался на своем «плимуте» в опору железнодорожного моста на Мейден-Хилл-роуд, что всего в нескольких сотнях метров от гранитного карьера Мини (кстати, мистер Мини-то и вызвал тогда полицию). Баззи погиб мгновенно: рулевая колонка вошла ему прямо посередине груди. Мы с Оуэном хорошо знали этот мост; он пересекает шоссе как раз в том месте, где оно после длинного крутого спуска резко поворачивает, – там требуется осторожность, даже когда едешь на велосипеде.

После этого не кто иной, как всеми гонимая миссис Хойт заявила, что Баззи Тэрстон просто-напросто стал очередной жертвой вьетнамской войны. Хотя ее никто и не слушал, она уверяла: именно война заставила Баззи накачиваться всякой дрянью – и так же точно война загубила ее Гарри. Миссис Хойт все это представлялось очень показательным для «вьетнамского» периода американской истории: злоупотребление наркотиками и спиртным, и самоубийствен-

ная гонка на автомобилях, и бордели Юго-Восточной Азии, где многие американские девственники получили свой первый и последний сексуальный опыт, не говоря уже о цепочных гадюках, притаившихся под деревьями!

Мистеру Чикерингу было что оплакивать, и отнюдь не только свое беспечное напутствие Оуэну – «отбивай». Знай он будущее, он плакал бы еще безутешнее, чем в тот день в церкви Херда, когда горевал о своей команде и вместе со своей командой.

Естественно, шеф полиции Пайк сидел отдельно от всех. Полицейские любят садиться у дверей. И конечно, инспектор Пайк не плакал. Для него все происшедшее оставалось уголовным делом об убийстве моей мамы, а заупокойная служба давала удобную возможность понаблюдать за подозреваемыми – мы ведь все оставались подозреваемыми в глазах инспектора Пайка. Среди скорбящих, подозревал инспектор Пайк, наверняка скрывается тот, кто украл бейсбольный мяч.

Он всегда находился где-то «у дверей», этот инспектор Пайк. Когда я встречался с его дочкой, мне постоянно мерещилось, что он вот-вот может вломиться – если не в дверь, так в окно. Эта боязнь его внезапного появления в конце концов сыграла со мной злую шутку: как-то раз, целуясь с инспекторской дочкой, я слишком поспешно отшатнулся, так что прищемил себе нижнюю губу между ее зубными пластинками, – явственно услышав за спиной скрип полицейских башмаков.

В тот день в церкви Херда этот самый скрип башмаков словно и вправду доносился от дверей; будто инспектор ждал, что украденный мяч сам собой выскользнет из кармана злоумышленника и зловещей уликой покатится по темно-малиновой ковровой дорожке. Для инспектора Пайка кража мяча, которым убило мою маму, отнюдь не относилась к мелким проступкам; по меньшей мере это являлось уголовщиной. То, что мою несчастную маму убило мячом, кажется, вовсе не волновало инспектора Пайка; то, что по мячу ударил бедняга Оуэн Мини, представляло для нашего шефа полиции чуть больший интерес – но лишь постольку, поскольку давало Оуэну мотив для похищения пресловутого мяча. И потому вовсе не к закрытому маминому гробу был прикован пристальный взгляд шефа полиции; и к бывшему авиатору – командиру Виггину – инспектор Пайк тоже не проявлял особого внимания; да и легкое заикание потрясенного пастора Меррилла не вызывало у него почти никакого интереса. Его сосредоточенный взгляд буравил затылок Оуэна Мини, пристроившегося на шаткой стопке из шести или семи «Сборников гимнов Плимутской колонии»; казалось, Оуэн с трудом удерживает равновесие на кипе молитвенников, словно взор инспектора грозил ее опрокинуть. Оуэн сидел настолько близко к нам, насколько возможно, и на том же месте, где и во время маминого венчания – позади семейства Истмэнов, а если точнее – за спиной дяди Альфреда. На этот раз Оуэн мог не бояться шуток Саймона насчет неуместности своего темно-синего костюма для воскресной школы – уменьшенной копии отцовского. Мрачный мистер Мини с окаменевшей спиной застыл рядом с сыном.

– «Иисус сказал: Я есмь воскресение и жизнь, – произнес преподобный Дадли Виггин. – Блаженны мертвые, умирающие в Господе».

– О Господи, милость Твоя не знает границ, – сказал преподобный Льюис Меррил. – Прими наши молитвы о рабе Твоей Табби и прими ее в обитель света и радости, в сонм Твоих святых.

В полумраке церкви Херда поблескивала лишь инвалидная коляска Лидии в проходе рядом со скамейкой бабушки. Харриет Уилрайт сидела одна. Мы с Дэном – на скамейке за ее спиной. За нами – Истмэны.

Преподобный капитан Виггин обратился к «Коринфянам»: «...и отрет Бог всякую слезу с очей...»⁹ – после чего Дэн заплакал.

⁹ В действительности это цитата из Откровения Иоанна Богослова (Откр. 7: 17).

Викарий не упустил случая и здесь представить веру как битву и призвал на помощь Исаию: «Поглощена будет смерть победою». Теперь я услышал, что к Дэну присоединилась тетя Марта; однако эти двое все же не шли ни в какое сравнение с мистером Чикерингом, который начал плакать задолго до того, как оба проповедника приступили к чтению отрывков из Ветхого и Нового Заветов.

Пастор Меррил, заикаясь, дошел до строчек из Плача Иеремии: «Благ Господь к надеющимся на Него...»

Затем он напомнил нам двадцать третий псалом¹⁰, как будто в Грейвсенде была хоть одна душа, которая не знала его наизусть: «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...» – и так далее. Когда мы дошли до того места, где говорится: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла...» – я отметил про себя, что голос Оуэна перекрывает все остальные.

Когда викарий говорил: «Дай силы осиротевшим», я уже в ужасе представил себе, как громко зазвучит голос Оуэна во время заключительного пения, – я знал, что это один из его любимых гимнов.

Когда пастор говорил: «Услышь наши молитвы и помоги нам посреди того, что превыше нашего постижения», я уже потихоньку бормотал слова гимна, заблаговременно готовясь заглушить Оуэнов голос.

И когда мистер Виггин и мистер Меррил не без труда произнесли в унисон: «Дозволь же нам верить Табиту Твоей непрестанной любви», я понял, что время пришло, и едва удержался, чтобы не закрыть уши руками.

Что еще могли мы спеть по случаю безвременной кончины, как не тот легко запоминающийся гимн, который в «Сборнике гимнов Плимутской колонии» обозначен как самый известный и любимый гимн «вознесения и царствования» – знаменитый «Агнец на престоле», от которого даже орган рыдает?

Ибо когда еще, как не после смерти любимого существа, больше всего нуждаемся мы в том, чтобы услышать о воскресении, о вечной жизни – и о Нем, который восстал из мертвых?

Агнца, Агнца на престоле
Увенчай венцом!
Он пришел по Божьей воле,
Посланный Отцом.
Искупил он мукой крестной
Наш великий грех!
Светоносный гимн небесный
Громче гимнов всех!

Агнец, Агнец на престоле
В славе и венце!
Видишь муку смертной боли
На его лице?
Тяжесть мук неодолимых
Вынес до конца...
Свет лучей неугасимых
Вкруг его лица!

Но больше всего Оуэна воодушевляла третья строфа.

¹⁰ В православном каноне соответствует двадцать второму.

АГНЕЦ, АГНЕЦ НА ПРЕСТОЛЕ!
АГНЕЦ ПОБЕДИЛ
СМЕРТЬ, ЦАРИВШУЮ ДОТОЛЕ,
ХЛАД И МРАК МОГИЛ!
ВОЛЮ БОЖЬЮ ОН ВОССЛАВИЛ,
СПРАВЕДЛИВ И ПРАВ.
ЖИЗНЬЮ – ЖИЗНЬ МОЮ НАПРАВИЛ,
СМЕРТЬЮ – СМЕРТЬ ПОПРАВ!¹¹

И даже потом, во время погребения, когда мистер Виггин говорил: «В расцвете жизни встречаемся мы со смертью», ужасный голос Оуэна все еще звенел у меня в ушах. Словно Оуэн продолжал напевать «Агнца»: мне казалось, что больше я не слышу ничего. Я теперь думаю, что в этом-то и состоит главное свойство любого гимна: он вызывает потребность повторять его снова и снова, и мы повторяем и повторяем; это неременная часть любой службы, и часто единственная часть погребального обряда, которая внушает нам мысль о том, что со всем можно смириться. Разумеется, с похоронами смириться нельзя, тем более – с похоронами мамы, потому что после успокоительного оцепенения, охватившего нас в церкви Херда, мы оказались на улице, под открытым небом, в самый обычный для Грейвсенда жаркий и душный летний день, и со школьных игровых площадок совсем неподалеку доносились неуместно веселые детские голоса.

Кладбище располагалось в самом конце Линден-стрит, откуда были видны здания младшей и средней школы. Мне предстояло посещать среднюю школу всего два года, но за это время я по горло наслушался шуточек от учеников, вместе с которыми оказывался в комнате для самостоятельных занятий. Глядя из окон, выходящих на кладбище, они высказывались на разные лады в том духе, что там-то куда веселее, чем здесь, за партой.

– С верой и упованием на воскресение в жизнь вечную через Господа нашего Иисуса Христа препоручаем мы Богу Всемогущему сестру нашу Табиту и предаем ее тело земле, – промолвил пастор Меррил.

Именно тогда я обратил внимание, что миссис Меррил зажала уши руками. Она ужасно побледнела – вся, за исключением пухлых плеч, которые до того обгорели на солнце, что больно было смотреть. На ней было свободное платье без рукавов, скорее серое, чем черное, – но, может быть, у нее просто не нашлось подходящего черного платья без рукавов, ведь никакие рукава на такие обожженные плечи не надеть. Прикрыв глаза, она едва заметно раскачивалась из стороны в сторону. Сначала я подумал, она закрыла уши оттого, что ее мучит страшная головная боль; ее сухие светлые волосы, казалось, вот-вот вспыхнут, как стружка; одна из сандалий расстегнулась и соскочила с ноги. Один из чахлах детей миссис Меррил прижался к ее бедру.

– Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху, – промолвил пастор, но жена не слышала своего мужа; она не просто закрывала уши, а словно пыталась вдавить их в череп.

Теперь это заметила Хестер. Она уставилась на миссис Меррил так же недоуменно, как и я; в мгновение ока суровое лицо Хестер исказилось болью – или каким-то внезапным болезненным воспоминанием, – и она тоже закрыла уши руками. Но мелодия «Агнца на престоле» все еще звучала у меня в мозгу; я не слышал того, что слышали миссис Меррил и Хестер. Я подумал, они ведут себя крайне неуважительно по отношению к пастору Меррилу, который старался провести службу как можно лучше, хотя сейчас почему-то явно заторопился, и даже

¹¹ Перевод Дм. Быкова.

обычно невозмутимый командир Виггин то и дело тряс головой, словно пытаясь вытрясти из ушей воду или неприятный звук.

– Благослови и прими ее, Господи, – сказал Льюис Меррил.

В этот момент я поглядел на Оуэна. Он стоял с закрытыми глазами, его губы шевелились; казалось, он еле слышно рычит, но это было самое большее, что он мог себе позволить, напевая под нос. Значит, я действительно слышал «Агнца на престоле»; значит, мне это не померещилось. Но Оуэн тоже закрывал уши руками.

Затем я увидел, как поднимает руки Саймон; и вот уже прижал ладони к ушам Ной; и дядя Альфред, и тетя Марта – все они прикрывали уши. Даже Лидия обхватила голову ладонями. Бабушка нахмурилась, но руки поднимать не стала; она с трудом заставляла себя слушать, хотя было видно, что это доставляет ей мучительную боль, и только тогда я это услышал – звуки, что доносились со стороны школьных игровых площадок. Там играли в бейсбол. Раздавались обычные в таких случаях крики, время от времени вспыхивали споры, и тогда поднимался невероятный галдеж; затем наступала тишина или почти тишина, и через несколько секунд ее разрывал – как всегда в бейсбольной игре – треск удара биты по мячу. Вот он раздался снова – плотный и тяжелый удар, и я увидел, что даже каменное лицо мистера Мини перекосилось от напряжения, а его пальцы крепче сомкнулись на плечах Оуэна. И мистер Меррил, заикаясь больше обычного, сказал:

– Да озарится лик Твой милостью, Господи, да примешь ее и даруешь ей вечный покой. Аминь.

С этими словами он наклонился и набрал пригоршню земли – он первым должен был бросить ее на мамин гроб. Я знал, что мама лежит там в черном платье – одном из тех двух, что она когда-то скопировала с красного, которого терпеть не могла. Белое, сказал Дэн, смотрелось на ней не так хорошо; я подозреваю, смерть испортила ее загар. Мне уже сказали, что висок в месте удара вздулся и почернел, и потому лучше хоронить ее в закрытом гробу. Да мы, Уилрайты, в любом случае не очень бы настаивали, чтобы гроб открыли; янки больше доверяют закрытым дверям.

Один за другим присутствующие на похоронах родственники бросали на мамин гроб землю; после этого было неудобно снова закрывать уши руками – однако Хестер не успела об этом подумать и опять прижала ладони к голове. По щеке у нее тут же размазалась грязь. Оуэн не стал бросать на гроб землю; еще я заметил, что он так и не оторвал ладони от ушей и не открыл глаза, так что отцу пришлось увести его с кладбища, точно слепого. Я услышал, как он дважды повторил: «ПРОСТИТЕ».

Я еще несколько раз слышал звон биты, ударяющей по мячу, пока Дэн Нидэм не увез меня в дом 80 на Центральной улице. У бабушки собрались лишь близкие родственники. Тетя Марта проводила меня наверх, в мою бывшую комнату, и мы вместе сели на кровать. Она сказала мне, что я могу переехать к ним «в северный край», где мы будем жить все вместе – с ней, дядей Альфредом, Ноем, Саймоном и Хестер, и что меня всегда примут там как родного. Она обняла и поцеловала меня и просила не забывать, что это предложение навсегда останется в силе.

Затем ко мне в комнату пришла бабушка. Она выпроводила тетю Марту и села рядом со мной. Бабушка сказала, что если я согласен жить у старухи, то, конечно же, всегда могу снова переехать в свою бывшую комнату, что эта комната навсегда останется моей и что никто и никогда не посмеет у меня ее отобрать. Бабушка тоже обняла и поцеловала меня и сказала, что мы оба должны изо всех сил постараться окружить Дэна любовью и заботой.

Следующим пришел Дэн и тоже сел ко мне на кровать. Он напомнил, что усыновил меня по всем правилам и что, хотя для всех в Грейвсенде я по-прежнему Джонни Уилрайт, в школе я могу с равным правом зваться Джонни Нидэмом: это означает, что, когда придет время, я могу, как того хотела моя мама, поступить в Грейвсендскую академию – на правах ребенка

преподавателя, как если бы я был родным сыном Дэна. Еще Дэн сказал, что в любом случае считает меня своим сыном и что до тех пор, пока я не закончу Академию, он не станет менять работу. Он не обидится, если я решу, что в доме 80 на Центральной мне удобнее, чем в общежитской квартире, но все же ему будет приятно, если я останусь жить вместе с ним, хотя там, конечно, не так просторно и весело. А может быть, мне понравится иногда ночевать там, а иногда на Центральной улице – смотря по настроению.

Я ответил, что, по-моему, это было бы здорово, и попросил его объяснить тете Марте – так, чтобы она не обиделась, – что я привык к Грейвсенду и не хочу переезжать «на север». Честно говоря, при одной мысли о том, чтобы поселиться вместе со своими двоюродными братьями и сестрой, мне становилось плохо; к тому же я был убежден, что у Истмэнов меня станут одолевать грешные помыслы насчет противоестественного сближения с Хестер (этого я передавать тете Марте не просил).

Когда неожиданно умирает любимый человек, ты теряешь его не сразу. Это происходит постепенно, шаг за шагом, на протяжении долгого времени, – так перестают приходить письма, – вот улетучился знакомый запах из подушек, а потом из одежного шкафа и ящиков. Постепенно ты накапливаешь в сознании какие-то исчезающие частички этого человека; а потом наступает день, когда замечаешь: исчезло что-то особое, и охватывает щемящее чувство, что этого человека больше нет и никогда не будет; а потом приходит еще день, и оказывается, что исчезло что-то еще...

Вечером после похорон я по-особому ощутил, что мамы больше нет, когда Дэну пришло время возвращаться в общежитие. Я понимал, что у него есть из чего выбирать: он мог вернуться в свою преподавательскую квартиру один, или я мог предложить ему пойти вместе с ним, или он мог остаться в бабушкином доме на Центральной улице; он даже мог спать в моей комнате на другой кровати, ведь я уже сказал бабушке, что не хочу, чтобы в ту ночь ее занял Ной или Саймон. Но, прикинув все варианты, я тут же понял, что каждый из них по-своему нехорош. Я понял: хорошего варианта больше нет, где бы отныне Дэн ни спал; теперь я обречен на тоскливые мысли – как он там один, а когда мы с ним вместе – на ощущение пустоты рядом с нами.

– Хочешь, чтобы я вернулся с тобой в общежитие? – спросил я его.

– А ты хочешь, чтобы я остался с тобой здесь? – спросил он меня.

Но какое это все имело значение?

Я смотрел, как он медленно бредет по Центральной улице в сторону освещенных окон Академии. Вечер выдался теплым, повсюду то и дело хлопали сетчатые двери и поскрипывали кресла-качалки на летних верандах. Соседские ребятишки играли во что-то с карманными фонариками; к счастью, даже для самых американских детей было уже слишком темно, чтобы играть в бейсбол.

Мои братья и сестра были необычайно подавлены происшедшей трагедией. Ной все повторял: «Надо же, в голове не укладывается!» – и обнимал меня за плечо. А Саймон довольно бестактно, хотя и без всякого умысла, добавлял: «Кто бы подумал, что он может так сильно ударить по мячу?»

Тетя Марта свернулась калачиком на диване в гостиной, положив голову на колени дяде Альфреду; она лежала неподвижно, словно маленькая девочка, у которой болит ухо. Бабушка, по обыкновению, расположилась в своем кресле, похожем на трон; время от времени они с дядей Альфредом переглядывались и сокрушенно качали головами. Один раз тетя Марта поднялась со включенными волосами и грохнула своим кулачком по журнальному столику. «*Господи, как же это бессмысленно!*» – вскрикнула она, после чего снова положила голову на колени дяде Альфреду и заплакала. Этот всплеск чувств никак не подействовал на бабушку; она лишь глядела в потолок, что можно было понимать двояко: то ли она просила о ниспослании терпения и выдержки, то ли пыталась постичь *смысл*, недоступный тете Марте.

Хестер не стала переодеваться: траурное платье, сшитое из черного льна, отличалось простым покроем и хорошо на ней сидело – маме наверняка бы понравилось. Вид у Хестер в этом платье был совсем взрослый, правда, оно порядком помялось. Из-за жары она время от времени подбирала волосы и закалывала их на макушке, но непослушные пряди то и дело выбивались из пучка и падали ей на лицо и шею, пока она в конце концов не плюнула и не распустила их совсем. Пот крупными бисеринами выступил у нее на верхней губе, отчего кожа казалась гладкой и блестела, как стекло.

– Хочешь прогуляться? – спросила она меня.

– Конечно, – ответил я.

– Хочешь, мы с Ноем пойдем с вами? – спросил Саймон.

– Не надо, – сказала Хестер.

Во многих домах на Центральной улице до сих пор горели лампочки над входными дверями; хозяйских собак еще не забрали в дом, и они лаяли при нашем приближении; однако мальчишек, что недавно играли с фонариками, уже позвали домой. С тротуара поднимались волны теплого воздуха – у нас в Грейвсенде в теплые вечера жару первым делом ощущаешь промежностью. Хестер взяла меня за руку, и мы медленно побрели вдоль по улице.

– Я сегодня второй раз в жизни вижу тебя в платье, – признался я.

– Знаю, – ответила Хестер.

Ночь выдалась особенно темной – облачной и беззвездной; месяц проступал сквозь дымку тусклым обломком.

– Ты только не забывай, – сказала она, – что твоему другу Оуэну сейчас еще хуже, чем тебе.

– Знаю, – ответил я, ощутив при этом немалый прилив ревности – во многом оттого, что Хестер тоже думала об Оуэне.

Дойдя до грейвсендской гостиницы, мы свернули с Центральной; я поколебался, прежде чем пересечь Пайн-стрит, но Хестер, судя по всему, знала дорогу – ее рука настойчиво тянула меня вперед. Когда мы дошли до Линден-стрит и двинулись вдоль темного здания средней школы, нам обоим уже было ясно, куда мы идем. На школьной стоянке виднелась полицейская машина – чтобы удобнее выслеживать хулиганов, подумал я, или чтобы помешать школьникам использовать стоянку и игровые площадки для недозволенных занятий.

Мы слышали звук мотора, слишком низкий и хриплый для патрульной машины, а когда здание школы осталось у нас за спиной, урчание сделалось громче. Вряд ли для работы кладбища нужен мотор, однако звук доносился именно оттуда. Сегодня мне кажется, что я потому хотел посмотреть тогда на мамину могилу, что знал, как она ненавидит темноту; думаю, я хотел убедиться, что даже на кладбище ночью пробивается хоть какой-то свет.

Уличные фонари с Линден-стрит озаряли кладбищенскую ограду, выхватывая из темноты огромный грузовик «Гранитной компании Мини», что стоял у главных ворот с включенным двигателем. Вскоре мы с Хестер разглядели мрачный профиль мистера Мини за рулем грузовика, изредка освещаемый вспышкой сигареты после каждой затяжки. Мистер Мини сидел в кабине один, но я хорошо знал, где сейчас Оуэн.

Мистер Мини, кажется, нисколько не удивился, увидев меня, а вот появление Хестер его смутило. Хестер всех смущала: вблизи и при хорошем освещении ее облик вполне соответствовал возрасту – крупная, рано созревшая девочка двенадцати лет. Однако на расстоянии, а тем более в сумерках, она запросто сошла бы за восемнадцатилетнюю девушку, к тому же вполне определенного сорта.

– Оуэну нужно было еще кой-чего сказать, – доверительно сообщил нам мистер Мини. – Но он чего-то подзастрял. Верно, вот-вот закончит.

Я почувствовал новый приступ ревности: выходит, Оуэн первым позаботился о том, как моя мама проведет свою первую ночь под землей. Во влажном и душном воздухе дизельный выхлоп казался особенно тяжелым и смрадным, но, боюсь, мне бы не удалось уговорить мистера Мини заглушить двигатель. Возможно, он не стал этого делать нарочно, чтобы поторопить Оуэна с его молитвами.

– Я хочу, чтоб ты знал кой-чего, – снова заговорил мистер Мини, обращаясь ко мне. – Я собираюсь послушаться твою маму. Она просила не мешаться, если Оуэн захочет пойти в Академию. Вот я и не буду. – Он помолчал и затем добавил: – Я обещал.

Пройдут годы, пока я осознаю, что с момента удара Оуэна по мячу мистер Мини больше никогда не «мешался» в его дела – что бы тот ни задумал.

– Еще она велела мне не волноваться насчет денег, – продолжал мистер Мини. – Я не знаю, как теперь с этим быть, – добавил он.

– Оуэн получит полную стипендию, – сказал я.

– Я ничего в этом не смыслю, – сказал мистер Мини. – Наверно, получит, если захочет. Твоя мама толковала чего-то насчет одежды. Всякие там пиджаки-галстуки.

– Не беспокойтесь, – сказал я.

– Да я-то не беспокоюсь, – сказал он. – Я просто хотел пообещать, что не буду мешать, вот и все.

Где-то в глубине кладбища мигнул луч света, и мы с Хестер невольно стали туда всматриваться. Мистер Мини заметил это.

– У него с собой фонарик, – пояснил он. – Не пойму, чего он так долго. Ушел-то уже давно. – Он слегка газанул пару раз, как будто этот звук мог поторопить Оуэна. Спустя некоторое время мистер Мини сказал: – Может, вы сходите поглядите, чего он там мешкает?

На само кладбище свет почти не пробивался, и мы с Хестер пробирались медленно и осторожно, стараясь не наступить на чужие цветы и не ушибить ногу о чье-нибудь надгробие. Чем дальше мы уходили от грузовика «Гранитной компании Мини», тем приглушеннее становился рокот двигателя – но вместе с тем он делался все более низким и глубоким, словно шел откуда-то из центра Земли, словно это был тот самый мотор, который вращает земной шар и отвечает за смену дня и ночи. Мы уже различали обрывки молитв, произносимых Оуэном; я подумал, он, должно быть, принес фонарик затем, чтобы читать из Книги общей молитвы – наверное, решил прочитать ее всю.

– «...ПУСТЬ ВВЕДУТ ТЕБЯ В РАЙ АНГЕЛЫ ГОСПОДНИ», – звучал его голос.

Мы с Хестер замерли; она встала за моей спиной и обхватила меня руками за талию. Я почувствовал, как ее груди прижались к моим лопаткам, а еще – поскольку она была чуть повыше меня ростом – я ощутил затылком ее теплое дыхание; она слегка пригнула мне голову своим подбородком.

– «ОТЕЦ ВСЕГО СУЩЕГО, МЫ МОЛИМСЯ ТЕБЕ ЗА ТЕХ, КОГО ЛЮБИМ, НО КОГО НЕТ БОЛЬШЕ С НАМИ...»

Хестер крепче сжала меня в объятиях и принялась целовать мои уши. Мистер Мини снова энергично газанул пару раз, но Оуэн, кажется, не слышал ничего вокруг; он стоял на коленях перед первой на этой могиле горкой цветов, у подножия свежего холмика напротив надгробия. Раскрытый молитвенник лежал перед ним прямо на земле, а фонарик он зажал между коленями.

– Оуэн? – позвал я, но он не услышал меня. – Оуэн! – сказал я погромче.

Оуэн поднял голову, но не обернулся, а именно что поднял голову – *вверх*, – он услышал, что его окликнули по имени, но явно не узнал мой голос.

– Я СЛЫШУ! – крикнул он гневно. – ЧТО ТЕБЕ НУЖНО? ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ? ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ОТ МЕНЯ?

– Оуэн, это я.

Тут Хестер за моей спиной задрожала и ее дыхание стало прерывистым. До нее вдруг дошло, с *Кем* Оуэн разговаривает.

– Это я и Хестер, – добавил я; мне вдруг пришло в голову, что фигура Хестер, маячившая за моей спиной и словно грозно нависавшая надо мной, тоже может ввести Оуэна Мини в заблуждение: он ведь теперь постоянно ждал появления ангела – того самого, которого спугнул в спальне моей мамы.

– А, ЭТО ВЫ, – отозвался Оуэн; в его голосе сквозило явное разочарование. – ПРИВЕТ, ХЕСТЕР. Я НЕ УЗНАЛ ТЕБЯ – ТЫ В ПЛАТЬЕ ВЫГЛЯДИШЬ ТАКОЙ ВЗРОСЛОЙ. ИЗВИНИ, ПОЖАЛУЙСТА.

– Ничего страшного, Оуэн, – сказал я.

– КАК ДЭН? – спросил он.

Я ответил, что Дэн держится, но он ушел ночевать в свое общежитие совсем один. Услышав эту новость, Оуэн сразу сделался сосредоточенным и деловитым.

– МАНЕКЕН, КОНЕЧНО, ВСЕ ЕЩЕ ТАМ, В СТОЛОВОЙ? – осведомился он.

– Ну да, – недоуменно ответил я.

– ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО, – сказал Оуэн. – ДЭНУ НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ ОДНОМУ С МАНЕКЕНОМ. ЧТО, ЕСЛИ ОН БУДЕТ ВСЕ ВРЕМЯ СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ НА НЕГО? А ВДРУГ ОН ПРОСНЕТСЯ НОЧЬЮ, ЗАХОЧЕТ ВЗЯТЬ ЧЕГО-НИБУДЬ ПОПИТЬ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА И НАТКНЕТСЯ НА МАНЕКЕН В СТОЛОВОЙ? НАДО ПОЙТИ ЗАБРАТЬ ЕГО. ПРЯМО СЕЙЧАС.

Он пристроил фонарик так, чтобы его блестящий корпус был полностью скрыт цветами, а луч освещал могильный холмик. Затем встал, тщательно отряхнул со штанов землю, закрыл молитвенник и еще раз взглянул, как освещается мамина могила; судя по всему, он остался доволен. Не один я, оказывается, знал, как мама не любила темноту.

Втроем в кабине мы бы не поместились, поэтому пришлось устроиться на пыльном полу прицепной платформы, и мистер Мини повез нас в общежитие к Дэну. Старшие школьники еще не спали; мы видели их на лестничных площадках и в холле – некоторые были уже в пижамах, и все с недвусмысленным интересом пялились на Хестер. Пока Дэн шел к двери, чтобы открыть нам, я услышал, как в его стакане гремят кубики льда.

– МЫ ПРИШЛИ ЗАБРАТЬ МАНЕКЕН, ДЭН, – сообщил Оуэн без долгих предисловий.

– Манекен? – переспросил Дэн.

– ТЕБЕ ВРЕДНО ВСЕ ВРЕМЯ СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ НА НЕГО, – заявил Оуэн.

Он уверенно прошагал в столовую, где манекен по-прежнему, словно часовой, возвышался над маминой швейной машинкой; на обеденном столе до сих пор лежало несколько кусков ткани и бумажная выкройка, прижатая к одному из них портновскими ножницами. На манекене, однако, обновок не было – он стоял в том же самом красном платье, которое мама терпеть не могла. Оуэн наряжал манекен последним; в этот раз он нацепил на него широкий черный пояс – один из маминых любимых, – пытаясь сделать ансамбль более эффектным.

Оуэн снял пояс и положил его на стол – как будто он мог когда-нибудь понадобиться Дэну! – и поднял манекен за бедра. Вообще Оуэн доставал манекену головой только до груди; когда же он поднял фигуру, ее груди оказались над головой Оуэна и словно указывали дорогу.

– МОЖЕШЬ ДЕЛАТЬ ЧТО ХОЧЕШЬ, ДЭН, – сказал Оуэн. – НЕ НУЖНО ТОЛЬКО СМОТРЕТЬ ВСЕ ВРЕМЯ НА МАНЕКЕН И ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАССТРАИВАТЬСЯ.

– Ладно, – ответил Дэн и глотнул виски из своего стакана. – Спасибо тебе, Оуэн, – добавил он, но Оуэн уже выходил из квартиры.

– ПОШЛИ, – бросил он на ходу нам с Хестер, и мы вышли вслед за ним.

Мы проехали по Корт-стрит, а потом через всю Пайн-стрит, и над головой у нас проносились ветви деревьев, и в лицо впивались мелкие гранитные пылинки. Один раз Оуэн стукнул кулаком по кабине. «БЫСТРЕЕ!» – крикнул он отцу, и мистер Мини поехал быстрее.

На Центральной улице, как раз в тот момент, когда мистер Мини стал притормаживать, Хестер сказала:

– Я могла бы так кататься хоть всю ночь. Можно было бы съездить к берегу моря и обратно. Ветерок так приятно обдувает. Хоть чуть-чуть прохладнее становится.

Оуэн снова стукнул кулаком по кабине.

– ПОЕХАЛИ К МОРЮ! – крикнул он. – К КАБАНЬЕЙ ГОЛОВЕ И ОБРАТНО!

Мы выехали за город. «БЫСТРЕЕ!» – снова крикнул Оуэн, когда мы ехали по пустой дороге по направлению к Рай-Харбору. Эти восемь-десять миль мы одолели стремительно; гранитные крошки скоро совсем сдуло с пола платформы, и теперь нам в лица лишь изредка ударялись случайные насекомые, проносящиеся мимо. Волосы у Хестер растрепались. Ветер гудел так, что не давал разговаривать. Пот на лицах мгновенно высох, слезы тоже. Красное платье плотно облепило мамин манекен и хлопало на ветру; Оуэн сидел, опершись спиной о кабину грузовика и разложив манекен у себя на коленях, – сосредоточенный, словно пытаюсь воспарить вместе с ним.

На берегу, у Кабаньей Головы, мы скинули обувь и зашли в море; мистер Мини все это время исправно ждал нас, так и не заглушив двигатель. Оуэн не выпускал манекен из рук, стараясь не заходить слишком глубоко, чтобы не замочить платье.

– МАНЕКЕН БУДЕТ У МЕНЯ, – сообщил он. – ВАШЕЙ БАБУШКЕ ТОЖЕ НЕ СТОИТ ПОСТОЯННО СМОТРЕТЬ НА НЕГО. А ТЕМ БОЛЕЕ ТЕБЕ, – добавил он.

– А уж тем более – тебе, – парировала Хестер, но Оуэн не отвечал, продолжая идти, высоко переступая через волны.

Когда мистер Мини наконец привез нас обратно на Центральную улицу, во всем квартале на первых этажах домов свет уже не горел, – если не считать бабушкиного дома, конечно, – светились только немногие окна на верхних этажах: кое-кто читал перед сном. В жаркие ночи мистер Фиш обычно спал в гамаке на застекленной веранде, так что мы старались не шуметь, прощаясь с Оуэном и его отцом; Оуэн не велел ему разворачиваться на нашей подъездной аллее. Поскольку манекен нельзя было согнуть и он не помещался в кабине грузовика, Оуэн поехал на платформе; он стоял, обхватив манекен за талию, а грузовик тем временем медленно отъезжал в темноту. Свободной рукой Оуэн крепко держался за цепь, которой бордюрные камни и могильные плиты пристегиваются к платформе.

Если мистер Фиш спал-таки на веранде в своем гамаке и если бы он проснулся в этот момент, то увидел бы незабываемую картину, проплывающую под фонарями Центральной улицы. Громоздкий темный грузовик, неуклюже движущийся по ночному городу, и женщина в красном платье – некая особа с соблазнительной фигурой, но без головы и без рук, – которую держит за талию прикованный цепью не то ребенок, не то карлик.

– Надеюсь, ты хоть понимаешь, что он чокнутый, – устало произнесла Хестер.

Но я смотрел вслед удаляющейся фигуре Оуэна с восхищением: он сумел совершенно по-особому заполнить для меня этот горестный вечер после маминих похорон. И, как и в случае с когтями броненосца, он взял то, что хотел, – на этот раз маминого двойника, скромный портновский манекен в нелюбимом платье. Потом, спустя годы, я не раз подумывал о том, что Оуэн, видимо, знал: этот манекен еще сыграет свою роль; видимо, он уже тогда предвидел, что нелюбимое платье еще сработает – что и у него есть предназначение. Но тогда, в ту ночь, я готов был согласиться с Хестер; мне казалось, красное платье просто стало для Оуэна чем-то вроде талисмана – амулетом, отводящим злую волю того самого «ангела», которого Оуэн якобы видел. Сам я тогда ни в каких ангелов не верил.

Торонто, 1 февраля 1987 года – четвертое воскресенье после Крещения. Сегодня я верю в ангелов. Я вовсе не утверждаю, что это хорошо; например, на вчерашних выборах в церковный совет мне это не особенно помогло – меня даже не внесли в список кандидатов. Я был членом

приходского правления столько раз и столько лет подряд, что вряд ли стоит обижаться; может, наши прихожане просто решили пожалеть меня и дать отдохнуть год-другой. Разумеется, если бы меня выдвинули помощником, я мог бы отказаться. Признаться, я порядком устал; я уже и так поработал для церкви Благодати Господней гораздо больше, чем многие. И все же удивительно, что мне не предложили ни одной должности; уж это-то могли бы сделать – если не за верную службу и преданность, то хотя бы из простой вежливости.

Напрасно я позволил обиде – если это обида – отвлечь мои мысли от воскресной службы; нехорошо это. Когда-то я был старостой при нашем викарии, канонике Кэмпбелле, – еще когда каноник Кэмпбелл был нашим викарием; признаться, пока он был жив, ко мне, по-моему, относились получше. Но с тех пор, как викарием стал каноник Мэки, я успел побывать и помощником старосты при викарии, и общественным старостой. А еще меня как-то на год избрали первым помощником старосты, а в другой раз – председателем приходского совета. Каноник Мэки не виноват, что в моем сердце он никогда не заменит каноника Кэмпбелла; каноник Мэки добр и приветлив, а его болтливость ничуть меня не раздражает. Просто в канонике Кэмпбелле было что-то особое, и в тех давних временах тоже было что-то совершенно особое.

Напрасно я переживаю насчет всей этой ерунды с ежегодным перераспределением приходских должностей; тем более нельзя позволять подобным мыслям отвлекать меня от литургии и проповеди. Каюсь, это мальчишество.

Приглашенный проповедник меня тоже отвлекает. Каноник Мэки вообще любит приглашать для ведения проповеди чужих священников, чем избавляет нас от собственной болтовни. Не знаю уж, откуда пришел наш сегодняшний проповедник, но он явно из числа англиканских «реформаторов»; главное положение его проповеди, все, что на первый взгляд кажется новым, на самом деле то же самое. Поневоле подумаешь: что сказал бы на это Оуэн Мини?

У протестантов принято часто обращаться к Библии; именно там мы обычно ищем ответы на все вопросы. Но даже Библия сегодня мешает мне сосредоточиться. Для службы в четвертое воскресенье после Крещения каноник Мэки выбрал Евангелие от Матфея, а именно эти Заповеди Блаженства. Нам с Оуэном, по крайней мере, постичь их было трудно.

«Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное».

Трудно представить себе, как могут «нищие духом» достичь хоть чего-то существенного.

«Блаженны плачущие; ибо они утешатся».

Когда погибла моя мама, мне было одиннадцать лет. А я оплакиваю ее до сих пор. Более того, я оплакиваю не только ее. И пока не чувствую никакого «утешения».

«Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю».

«НО ЭТОМУ ЖЕ НЕТ НИКАКОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ», – говорил Оуэн, обращаясь к миссис Ходдл в воскресной школе.

А дальше:

«Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят».

«А ПОМОЖЕТ ЛИ ИМ ТО, ЧТО ОНИ УЗРЯТ БОГА?» – вопрошал Оуэн у миссис Ходдл.

Помогло ли Оуэну то, что он узрел Бога?

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить на Меня, – говорит Иисус. – Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас».

Награда на небесах – в этом есть что-то такое, что нам с Оуэном всегда было трудно принять.

«ТО ЕСТЬ ПРАВЕДНОСТЬ – ЭТО ВЗЯТКА», – уточнял Оуэн; но миссис Ходдл уклонялась от дискуссии.

Так что после Заповедей Блаженства и проповеди, прочитанной незнакомым священником, мне показалось, что Никейский символ веры мне навязывают. Каноник Кэмпбелл имел

обыкновение разъяснять все, что непонятно, – например, мне не давало покоя место, где говорится о вере в «Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», и каноник Кэмпбелл помог мне увидеть, что скрывается за этими словами: он заставил меня понять, что подразумевается под «соборностью», в каком смысле церковь «апостольская». А каноник Мэки говорит, что я зря переживаю, – это «просто слова». *Просто слова?*

И еще остается вопрос насчет «всех народов» и особенно – «королевы нашей». Я уже не американец, но меня до сих пор коробит от этой строки: «...даруй рабе Твоей ЕЛИЗАВЕТЕ, королеве нашей...» А уж думать, будто можно «вести все народы стезею добродетели», – просто смешно!

И перед тем, как получить святое причастие, я передумал участвовать в общей исповеди.

«Признаем наши многие грехи и беззакония и каемся в них». В некоторые из воскресений мне невероятно трудно это произнести; каноник Кэмпбелл всегда бывал снисходителен ко мне, когда я клялся, что мне тяжело сделать подобное признание, но каноник Мэки опять и опять оперирует тезисом «просто слова», пока я не начинаю закипать от ненависти. И когда каноник Мэки начал обряд святого причастия, приступив к благодарственному молебну и освящению хлеба с вином – а читал каноник *нараспев*, – я почувствовал раздражение даже от его певучего голоса, которому никогда не сравниться с голосом каноника Кэмпбелла – упокой, Господи, его душу.

За всю службу только один псалом как следует пронял меня и заставил устыдиться: тридцать седьмой¹²; мне казалось, хор обращается прямо ко мне:

«Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло».

Да, все правильно: мне нужно перестать гневаться и оставить ярость. Что хорошего в раздражении? Я часто раздражаюсь. Иногда я даже готов «делать зло» – вы это еще увидите.

¹² В православной Библии соответствует Псалму 36; далее 36: 8.

4

Младенец Христос

Первое Рождество после маминой смерти я впервые в жизни провел не в Сойере. Бабушка сказала тете Марте и дяде Альфреду, что, если наша семья соберется в полном составе, мы слишком остро будем чувствовать мамино отсутствие. Если я с Дэном и бабушкой останусь в Грейвсенде, уверяла она, а Истмэны – в Сойере, мы все будем скучать друг по другу – а значит, будем меньше тосковать по маме. В то Рождество 1953 года я понял, каким адом может стать этот святой праздник для семьи, потерявшей кого-то из близких или где есть иная беда; так называемый дух дарения порой так же ненасытен, как и дух стяжательства, – в Рождество мы отчетливее всего осознаем, чего лишены и кого с нами нет.

Все время каникул я проводил попеременно то в бабушкином доме на Центральной улице, то в покинутой мною общежитской квартире Дэна, благодаря чему впервые увидел, как Грейвсендская академия выглядит в Рождество, когда все ученики, живущие в общежитии, разъезжаются по домам. Унылый камень и кирпич, запорошенный снегом плющ, наглухо закрытые и потому казарменно-однообразные окна спальных и учебных корпусов – все это придавало учебному заведению сходство с тюрьмой, охваченной массовой голодовкой. По дорожкам четырехугольного двора не спешили, как обычно, школьники, и одинокие голые березы цвета кости выделялись на фоне снега, словно рисунки углем или скелеты бывших выпускников.

Колокола капеллы, как и звонок, возвещающий о начале очередного урока, временно безмолвствовали, и мамино отсутствие как бы подчеркивалось отсутствием обычной для Грейвсенда музыки – я к ней так привык, что почти перестал замечать, пока она вдруг не умолкла. Осталось только торжественно-мрачное «бом», отмеряющее часы на колокольне церкви Херда. В льдистые дни того декабря, разносясь над старым снегом, оттаявшим и смерзшимся снова, тускло отсвечивающим истертым оловом, бой часового колокола церкви Херда напоминал погребальный звон.

В то Рождество веселиться было не с чего, хотя наш славный Дэн Нидэм и старался изо всех сил. Он слишком много пил и потом скрипучим голосом распевал рождественские гимны, гулким эхом отдававшиеся во всех уголках пустого корпуса. Его манера исполнения этих гимнов мучительно-резко отличалась от маминой. А когда к Дэну присоединялся Оуэн, чтобы спеть строфу из «Да пошлет Господь вам радость» или – еще хуже – «И озарилась светом ночь», старые каменные лестничные колодцы общежития наполнялись и вовсе надрывной музыкой, нисколько не похожей на рождественскую, а, напротив, совершенно отчетливо похоронной; казалось, это поют призраки учеников Академии, которые когда-то не смогли уехать домой на Рождество и теперь вызывают к своим далеким семьям.

Спальные корпуса Грейвсендской академии носили имена давно умерших преподавателей и директоров: Аббот, Амен, Бэнкрофт, Данбар, Гилман, Горам, Куинси, Лэмберт, Перкинс, Портер, Скотт, Хупер. Дэн Нидэм жил в корпусе под названием Уотерхаус-Холл, названном в честь некоего покойного латиниста-зануды по имени Эймос Уотерхаус, – но даже его переложение рождественских гимнов на латынь, я уверен, звучало бы куда веселее, чем эта заунывная несуразица в исполнении Дэна с Оуэном Мини.

Словно в отместку за то, что теперь Рождество будет проходить без моей мамы, бабушка отказалась участвовать в праздничном оформлении дома 80 по Центральной улице; в результате венки оказались прикреплены на дверях слишком низко, а нижние ветки рождественской елки были явно перегружены мишурой и игрушками – не страдающей изысканным художественным вкусом Лидии удалось сотворить это лишь на высоте инвалидной коляски.

– Все-таки лучше было бы нам всем поехать в Сойер, – заявил Дэн Нидэм слегка заплетаящимся языком.

Оуэн тяжело вздохнул.

– ПО-МОЕМУ, Я УЖЕ НИКОГДА НЕ ПОБЫВАЮ В СОЙЕРЕ, – угрюмо сказал он.

Вместо Сойера мы с Оуэном отправились по комнатам ребят, которые на Рождество разъехались из Уотерхаус-Холла по домам. У Дэна Нидэма имелся универсальный ключ, отпиравший замки всех комнат. Почти каждый день Дэн уходил репетировать со своими актерами сценическое переложение «Рождественской песни»¹³ – ее ставили у нас каждый год и успели отчаянно затрепать; чтобы хоть как-то освежить игру, Дэн заставлял актеров меняться ролями от одного Рождества к другому. Так, мистер Фиш, который в позапрошлом году играл Призрака Марли, в прошлом – Святочного Духа Прошлых Лет, теперь был самим Скруджем. Несколько лет подряд Дэн приглашал на роль Малютки Тима прелестных детишек, но те вечно путали слова, и Дэн стал уговаривать Оуэна. На что Оуэн сказал, что все лопнут со смеху – если не при первом же его появлении, то уж когда он откроет рот – точно. И кроме того, мать Малютки Тима играла миссис Ходдл – при одной мысли об этом, заявил Оуэн, у него ВНУТРИ ВСЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ.

¹³ Речь идет о повести Ч. Диккенса «Рождественская песнь в прозе».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.